

84.4 (Бол.)

М-60

ИВАН МИЛЧЕВ

МОЕ
далекое
детство



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

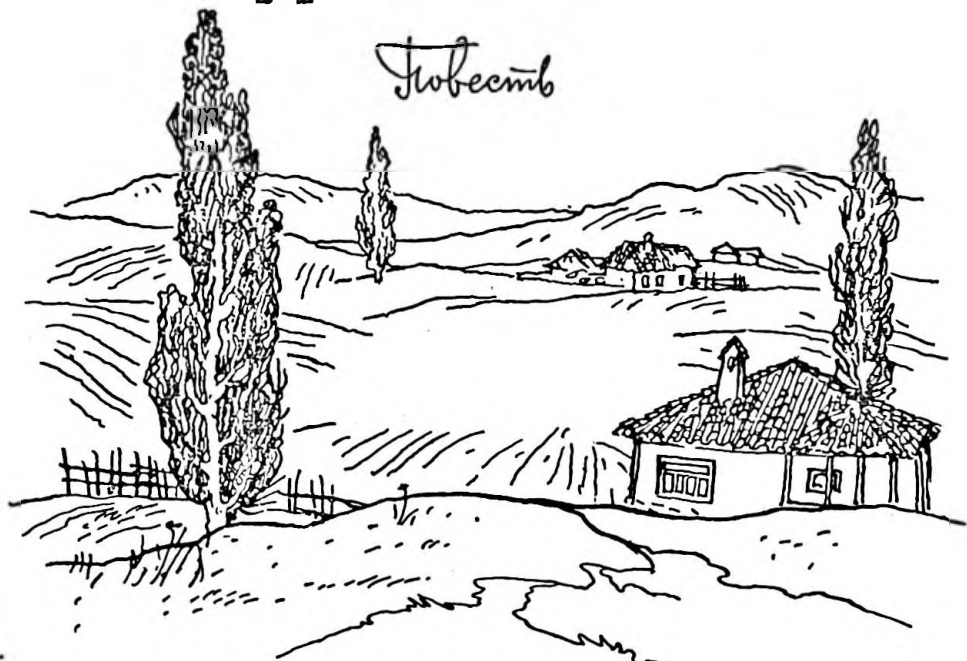
и (всл.)

М-СС

ИВАН МИЛЧЕВ

Мое далекое детство

Повесть



БИБЛИОТЕКА КГПИ

Иув. № 256550

Москва

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1980

И (Болг)
М60

Иван Милчев
ОНЯ ДАЛЕЧЕН МОЙ СВЯТ
Народна младеж
София 1978

*Перевод с болгарского и примечания
В. ВИКТОРОВА*

Предисловие А. АЛЕКСИНА

Послесловие В. ЗЛЫДНЕВА

Рисунки
М. МИРОНОВОЙ

М 70803—287 388—80
М101(03)80

© Перевод. Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1980

В нашей книжной сокровищнице повести о детстве могут составить целую библиотеку. Сегодня на полку этой библиотеки вы сможете поставить и «Повесть о далеком детстве», написанную известным болгарским поэтом, лауреатом Димитровской премии Иваном Милчевым.

Иван Милчев родился в 1910 году в придунайском селе Расове. Отец почти всегда находился на фронтах частых в то время войн. Он писал маленькому сыну письма, которые читал ему дедушка: мать была неграмотной. Мальчик очень удивлялся тому, что голос отца доходит до него из дальних краев. Ему хотелось тоже «послать отцу свой голос». И дедушка научил внука читать и писать.

В доме было всего две книги, которые быстро прочел Иван. К счастью, они оказались превосходными книгами: автором одной из них был выдающийся болгарский писатель Захарий Стоянов.

«Захарий Стоянов,— вспоминает Милчев,— открыл мне магию слова. И я сказал себе: «Это великое дело — уметь писать книги». А позже слово стало главным средством самовыражения в моей жизни».

Близко коснулось Ивана Сентябрьское восстание 1923 года — первое в мире антифашистское восстание, которое возглавили Георгий Димитров и Васил Коларов. Дядя Ивана, коммунист, после разгрома восстания был замучен в стоявшей на Дунае барже, превращенной в страшный застенок.

С детства Иван был воспитан в благородном духе свободлюбия, и это определило его жизненный и творческий путь.

Командир артиллерийской батареи в годы минувшей войны,

сражавшийся плечом к плечу с нашими воинами, начальник штаба арtpолка, военный журналист, редактор военного издательства в звании полковника болгарской армии...

Естественно, что военная тема — ведущая в творчестве писателя. Но Милчев вдохновенно воспел и мирный труд болгарского народа, он размышляет о высоком предназначении человека-творца, об искусстве. Популярны в Болгарии книги Милчева для детей, повествующие об увлекательных приключениях факира Микки и его собаки Сикки, о веселых похождениях болгарского школьника, который получил прозвище «Гошко-фестиваль» на Всемирном фестивале в Софии, сборники стихотворений для самых юных читателей, а вернее сказать — слушателей. Много работает Милчев и над переводами из русской и советской поэзии.

И вот перед вами — новая книга Ивана Милчева. Человек, много лет посвятивший военной профессии, создал антивоенную повесть. «В детстве, — говорит он, — я был свидетелем трех войн, кровавого переворота, двух восстаний. В четвертой войне я участвовал лично...»

Все это сделало писателя страстным борцом за мир, за счастье юных и взрослых людей. Мечтой о мире одухотворена и эта книга, переведенная на русский язык талантливым писателем В. Викторовым.

АНАТОЛИЙ АЛЕКСИН



1

Дедушкиного дома сейчас уже нет. Нет и старого вяза, задевавшего своими ветвями его позеленевшую черепицу. Двор когда-то был таким просторным, что там и лошадям хватило бы места порезвиться. За домом и овчарней находился задний двор, заросший лопухом, мальвой, дурманом, крапивой, усеянный тутовыми ягодами и растасканной курами соломой. Это были мои владения.

Двор выходил на три улицы, летом пыльные, зимой грязные. Со всех сторон его окружала глубокая канава. В ней сплела живую изгородь буйная калиница, усеянная весной мелкими лиловыми и розовыми цветочками. Калиница была такая густая, что когда дедушка гнался за нами — мной и моим

братом Шанко, мы ныряли под ее ветви, нависавшие над землей подобно кровле, и дедушка уже не мог найти нас. Однажды мы обедали в садике перед домом. Вдруг бабушка вскрикнула и побелела как полотно. Дедушка вскочил с места, схватил палку, бросился в бурьян и начал бить палкой по земле. Потом подцепил палкой что-то, похожее на серую волнистую веревку, и сказал:

— Вот что такое пустырь. Гадюка!

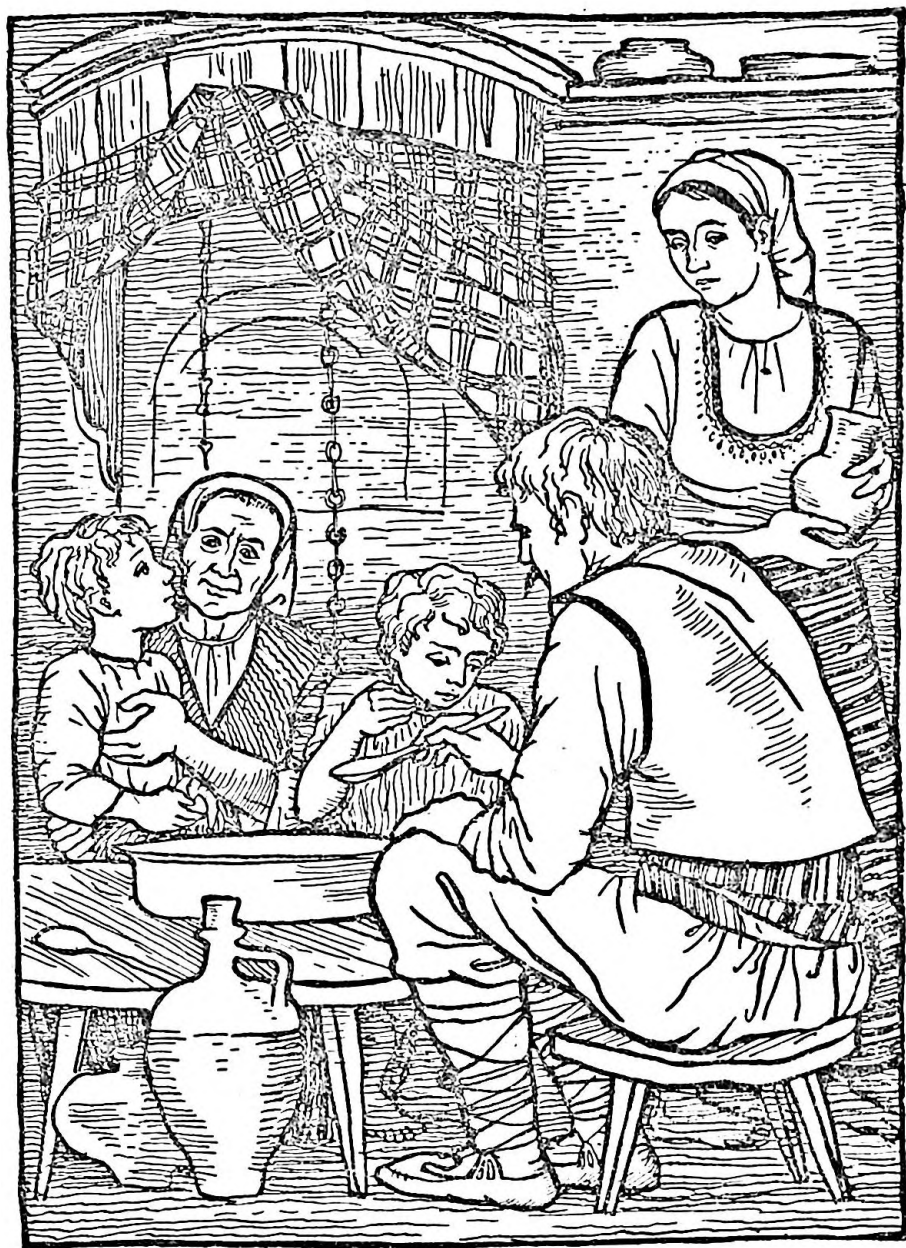
Впервые я видел змею. Голова ее была размножена, но змея еще извивалась как живая, и мне было страшно даже глядеть на нее. Дедушка вырыл ямку и закопал ее. Бабушка целую неделю была беспокойна — скверной приметой было появление змеи в доме. Но ничего плохого не случилось.

Дедушкин дом был старый, кирпичный. Его беленые стены облупились от дождя и града, и только узкая полоска под крышей оставалась белой. Ниже на стенах зияли дыры, которые дедушка замазывал глиной.

Чтобы войти в комнаты, нужно было пройти через оджак — так называлось это помещение. К одной его стене примыкал очаг, покрытый сизым пеплом и непрогоревшими головешками. На завалинке обычно стоял горшок с бобовой похлебкой или с кислым молоком, если в доме была буйволица или хотя бы овца. Поздно вечером, когда мы собирались в комнате, за очагом объявлялся сверчок. Песнь его была тихая и серебристая как звоночек, протяжная и грустная. Однажды мне удалось увидеть этого сверчка. Он был не черным, как полевые сверчки, а коричневым и стеклянно-прозрачным, потому что он был нашим домашним сверчком. Стены оджака закоптились, а доски над очагом, балочка, на которой висела цепь, и сама цепь покрылись от гари и дыма гладкой черной корочкой и блестели как полированные. На глянце кое-где виднелась сажа.

С другой стороны на длинной лавке лежали медные блюда и глиняные миски. Под лавкой на крюках висели луженые медные котелки для воды. Под ними всегда было мокро. Возле лавки висела корзина, сплетенная из тонких ивовых прутьев, потемневших от времени и ставших коричневыми. В корзине мы держали деревянные ложки — их делали цыгане. Каждое лето в окрестностях села появлялись два-три цыганских табора. Кони ржали подле телег, ребятишки плясали у зажженных костров. Цыганки взваливали на плечи по две сумки, брали в руки по две палки¹ и шли по домам. Они продавали ложки, сита,

¹ Во дворах держали по несколько собак, и цыганки, чтобы отбиваться от них, носили в каждой руке по палке.



решета, гадали по руке, а когда заходили в пустой двор, случалось и воровали. Утром табор обычно исчезал, а с ним и чья-нибудь лошадь. Поставят ей ночью каленым железом новое клеймо и продадут через девять сел в десятое.

Перед дедушкиным домом была деревянная, поднятая на три ступеньки терраска, огороженная досками с красиво вырезанными фигурами. Там мы сидели летом в тени, там съедали барашка в Юрьев день. Снаружи дедушка набил деревянные клинья — на них бабушка развешивала нанизанный на бечевку красный перец. Под черепицами крыши зимой спали воробьи, которых мы ловили поздним рождественским вечером для трапезы.

В доме дедушки было две комнаты, но, неизвестно почему, мы ютились в одной, восточной, которая называлась нижней. В ней от стены до стены тянулось длинное ложе, сделанное из ивняка, покрытое сеном и домоткаными одеялами. На этой кровати спали мы все. Несколько деревянных трехногих стульев, сделанных дедушкой, широкий круглый низкий стол, кувшин для воды, метла за дверью и печка с прогоревшей плитой — вот, пожалуй, и вся наша обстановка.

Зимой после ужина дедушка присаживался перед печкой и совал в нее через открытую дверцу наколотые дрова, стебли кукурузы, подсолнуха или просто солому, если не было ничего другого. На его плечи всегда был накинута коричневый джамадан¹. Закрыв дверцу печки, дедушка скручивал сигарку, брал в ладони уголек и прикуривал от него. И, глубоко втягивая дым, сплевывал сквозь зубы на пепел, высыпавшийся из печки. Он делал это очень искусно: сколько я ни старался сплунуть, как он, мне это никогда не удавалось. У мерцающей газовой лампы мама и тетки вязали чулки, бабушка пряла, а мы с Шанко, уставшие от дневных игр, умолкали на кровати. Только дедушка, покручивая усы, время от времени высказывал вслух какую-нибудь свою мысль или давал распоряжения на завтра.

Высокий, стройный, энергичный был дедушка. Как сейчас его вижу — с гордо поднятой головой, в коричневых шароварах, подпоясанных красным кушаком, и накинута поверх белой рубахи джамадане, с палкой, просунутой сзади под локти. Он не расставался с ней. И походка его была широкой, размашистой. Так он шел по пыльной улице, чтобы купить себе табак или поболтать с людьми в Андрешовом кабаке, так и возвра-

¹ Д ж а м а д а н — народная верхняя одежда без рукавов, с вышивкой.

шался. По дороге заговаривал со всеми, кого встречал или нагонял. И для всякого находилось у него смешное или желчное словцо. Он вечно замечал у людей недостатки. печно критиковал и партии, и правительствa, и старост. Язык его был острым и язвительным, он умел говорить остроумно, с юмором, сарказмом, и люди, вызывая его на очередную остроту, заранее корчились от смеха, ожидая, что он скажет. Лицо его было кирпично-коричневого цвета, с широким толстовским носом, с мелкими морщинками на высоком лбу, над которым нависала короткая челка, как у Ивана Вазова¹. Дедушка редко стригся, и сзади волосы его сплетались над сморщенной и коричневой, как недожженный кирпич, шеей.

А как я любил слушать дедушкины сказки! Да и не только сказки. Дедушке было восемнадцать лет во времена нашего освобождения от турок, он много видел и пережил, и часто по вечерам я приставал к нему:

— Ну расскажи, дедушка, Расскажи что-нибудь о рабстве!²

И он рассказывал. О Месут-аге, о татарах, о черкесах, которых называл «керкесами». Татары были более спокойным народом, черкесы же были жестокими, совершали грабежи и убийства. Страшные истории про черкесов и пугали меня, и привлекали, потому что будили сильные — и потому настоящие — переживания.

Но больше всего я любил бабушкины рассказы (бабушка была из большого рода Кандаловцев, которые и сейчас живут в нижней слободе, у реки).

«Однажды ночью послышался конский топот на деревянном мосту, раздались свирепые крики. Крестьяне замкнули ворота и загасили лампы. Загремели ружья и пистолеты, село замерло в страхе. Проскочив мост, черкесы остановились перед высокими воротами Кандаловцев, стали стучать копьями, но никто не открыл. Тогда они озверели, разбили ворота и ворвались во двор.

Бабушкин дед испугался и сам открыл дверь:

— Милости просим, агалар³, только деток не пугайте. Будьте

¹ Иван Вазов (1850—1921) — выдающийся болгарский писатель, поэт, драматург

² Болгария находилась под турецким владычеством около пяти веков, вплоть до освобождения ее в 1878 году русскими войсками совместно с болгарскими ополченцами.

³ А г а (турецк.) — господин, а г а л а р — господа.

как дома, гости дорогие, есть у нас и маслице, и мучка, и цыплята. Бабка вам сейчас живо сварганит баницу!¹

— Не нужна нам, неверный, ни твоя баница, ни цыплята. Золото давай.

— Откуда ж у нас золото, агалар, ради хлеба трудимся...

Тогда черкес схватил старика и прошипел:

— Горшок золота или голова с плеч!

В доме все замерли от страха, но никто не решался высунуться. Когда черкесы поняли, что старик терпит все муки, но золота им не даст, они швырнули его на колоду возле сарая и прикончили. Женщины в доме заголосили, черкесы услышали и разъярились еще больше. И — в комнату. А там были женщины, дети и лишь один мужчина — бабушкин отец. Набросились и на него: «Золото или жизнь!» Но и отец повторял, что нет в доме никакого золота. И действительно не было. Тогда черкесы сорвали цепь с очага и бросили в огонь. Когда она раскалилась докрасна, ею обмотали тело бабушкиного отца. Долго его мучили, но так ничего и не добились. Да и другие дома надо было грабить. Оставили отца полуживого и пошли. У дверей один из черкесов увидел детскую люльку. В ней лежала девочка (это была моя бабушка). Черкес обернулся к товарищу:

— Пырни ее копьём. Пусть посмотрит этот неверный.

Но товарищ, наверно, сам имел детей. Он ответил:

— Невинная тварь. Пусть живет.

И ушли...»

Свет едва проникал в нижнюю комнату. Только окна придавали ей свежесть и радовали глаз стоящими на подоконнике горшками, в которых мама разводила герань. Герань была вся в красных и белых цветах. Зимой маленькие окошки радовали меня больше. Утром я просыпался, а на стеклах блестели серебряные цветы и ветки, серебряные серны и зайцы — чудесный мир, разжигавший мое воображение. Мама говорила, что, пока мы спали, приходил Дед Мороз, чтобы все это нарисовать, а я никогда не успевал вовремя проснуться, чтобы увидеть его.

Но гораздо интересней была для меня другая, верхняя, комната, до потолка набитая сундуками, ткацкими челнами, прялками, веретенами, старыми одеялами, обувью, ржавым железом, инструментами и всякой всячиной. Здесь все утопало в пыли и всегда царил таинственный полумрак, затянутый густой паутиной. Когда мама входила в эту комнату, я бежал следом за

¹ Б а н и ц а — слоеный пирог из тонко раскатанных листьев теста.

ней, но она останавливала меня на пороге: «Вернись и не смей сюда входить! Мышь напугает, или крыса, или еще кто страшнее!» Мне так ясно рисовались все эти ужасы, что я не смел послушаться маму. Только однажды вошел я в эту комнату, но это было при совершенно особых обстоятельствах.

В тот день я стоял во дворе у ворот и, поскольку мне было запрещено выходить на улицу, придумывал себе развлечения. Напротив, во дворе Харлампия Чалата, играли две его маленькие дочки — Правка и Стефанка, годом-двумя старше меня. Я достал свое деревянное ружье и начал стрелять по воробьям, воображая, что это ястребы (ястребы таскали маленьких цыплят, а мама поручила мне присматривать за курами и охранять цыплят). Стреляло, конечно, не ружье, просто я сам кричал: «Пах! Пах! Пах!» Но старался «стрелять» все громче. Я хотел обратить на себя внимание Правки и Стефанки, чтобы они пришли к нам играть. Стрелял я, стрелял, под ногами у меня росла куча «убитых» ястребов, а девчонки не обращали на меня ни малейшего внимания. Тогда я начал стрелять еще громче.

Я даже не заметил, как сзади меня появилась Стефанка. Она была хитрее и озорнее сестры и больше любила играть с мальчишками.

— В кого стреляешь? — спросила она.

— В ястребов.

— Много убил?

— Вон сколько, сама видишь.

— А зайца убить ты можешь?

— Ага! И лисицу могу.

— А медведя?

— Медведя не могу, — честно признался я. — Но если достать ружье из верхней комнаты, тогда могу.

Я действительно слышал, что у дедушки было старое ружье, валявшееся в верхней комнате.

— Так пойди принеси!

— Туда страшно входить.

— Почему?

— Там очень темно. И какие-то звери водятся. Мама говорила.

— «Звери водятся... Мама говорила...» А ты сам их видел, зверей этих?

— Сам не видел, — снова честно признался я.

— Значит, ты трус. Потому и со двора не выходишь. Мальчишек боишься.

— И не трус я вовсе.

— А если не трус, возьми да принеси ружье. И я с тобой пойду.

Я мысленно содрогнулся, когда представил себя в комнате, но мое мужское достоинство ответило за меня:

— Ну что ж, пошли.

Я нерешительно толкнул дверь, и она отворилась.

Распахнулась темная бездна. Я вздрогнул и готов был уже идти на попятный, но Стефанка втокнула меня внутрь и закрыла за собой дверь. Глаза мои, не привыкшие к темноте, ничего не видели. Меня охватил ужас. Пол подо мной проваливался, я как в страшной сказке летел куда-то вниз... Я дернулся было к двери, но Стефанка крепко держала меня за руку.

— Давай ищи ружье!

Я почувствовал, как дрожит ее рука, сжимавшая мою, и понял, что и она боится. Мне стало еще страшнее, но мое подвергнутое испытанию мужское достоинство на этот раз прошептало мне беззвучно: «Ты действительно будешь трусом, если убежишь. Ведь ты мужчина». И я начал держаться как мужчина. К тому же перед глазами у меня просветлело, из мрака стали выплывать предметы, окутанные толстым слоем пыли, и своей реальностью и неподвижностью они успокоили меня.

— Ищи ружье,— снова приказала моя мучительница.

Я стал рыться в вещах. Натыкался на какие-то железки, челноки, старую обувь, надышался пыли, начал чихать. Постепенно я успокоился, обшарил взглядом стены — ружья нигде не было. Я оглядел старые, позеленевшие луженые кастрюли, набитые разным железным хламом, из которого торчали заржавевшие ножи, и зачем-то запустил руку в стоявший рядом горшок с широко разинутым горлом. Пальцы мои утонули в чем-то густом и липком, в нос ударил запах гнили. И в тот же миг я весь похолодел.

— Вампир! — только и мог я произнести.

— Какой еще вампир? — не менее испуганно спросила Стефанка.

Вампиры — это были умершие, которые возвращались на землю, снова обретали плоть и сосали кровь из живых людей. Это я узнал от бабушки. Вампиры появлялись по ночам и торопились убраться, пока не пропойт первые петухи, потому что если они запоздадут, они растопятся и превратятся в студень. И вот я нашел студень одного такого замешкавшегося вампира. Он, понятно, мертвый, но... кто знает, может, тут есть и живые?

— Вампир,— ответил я Стефанке,— мертвый...

— Так если мертвый, чего бояться?

Я понял, что Стефанка смелая девчонка, и мне стало стыдно

за себя. Но в этот момент Стефанка громко взвизгнула и, вцепившись в мою руку, потащила меня к двери. Остановились мы только у ворот. На свету я уже осмелел.

— Ну ладно, я был трус. А сейчас кто испугался?

Стефанка еще дрожала. Губы ее посинели. Чтобы прогнать страх, она плюнула за пазуху три раза. И только тогда ответила:

— Да я не из-за этого вовсе... Я увидела мышь!

— Все вы такие, девчонки! Я вампира не побоялся, а ты от мыши убежала!

Моя мужская честь была спасена.

— Будешь теперь говорить, что я трус?

— Нет. Ты храбрый.

Но храбрец, снова почувствовав запах гнили, поглядел на свою руку. Она до локтя была вымазана в чем-то густом и коричневом. Я снова подумал о вампире и побежал к каменному корыту, стоявшему среди двора. В это корыто наливали воду для кур, гусей и для Лишко, нашей старой собаки. Я долго мыл свою руку, но запах гнили все не проходил. Вечером я рассказал маме — не о вампире, а о том коричневом, в большом горшке. Она посмотрела на меня:

— Зачем ты туда лазишь? Отравишься еще когда-нибудь. Это же сода для стирки, мы в ней белье кипятили прошлой весной...

Да, вот так и придумывают страшные сказки! Стиральную соду я принял за мертвого вампира... Конечно, я бы нашел ружье, если бы не эта трусиха Стефанка!

Но оставим эти страхи, которые внушают нам взрослые. У них, у взрослых, нет другого дела, как придумывать разные глупости. А нам такое и в голову никогда не придет! Вот еще одно доказательство того, что взрослые сами не знают, что творят...

Как дорог мне был старый вяз! Когда его срубили, я, уже взрослый мужчина, плакал о нем, как о живом человеке. К вязу всегда была подставлена легкая лестница. По этой лестнице куры по вечерам забирались на дерево спать. Они спали там летом и зимой. Утром, еще на заре, когда снег синий-синий, словно залит чернилами, они стряхивали с себя снег, вертели головами то налево, то направо, чтобы глянуть одним глазком вниз, и слетали кто куда. Некоторые тонули в глубоком снегу, барахтались там, хлопали крыльями и с трудом выбирались на расчищенную дедушкой дорожку.

Таял снег, подсыхала земля, схватывалась серой корочкой, дедушка расстилал под вязом мешок и вытягивался подремать.



Шпарило солнце после короткого летнего дождя — и дедушка снова расстилал свой мешок, клал в изголовье камень и засыпал. И никогда не знал, что такое простуда.

Очень любил он нас, детей. Но мы его сердили. Только он уснет — мы поднимаем шум. Разозлит меня чем-то Шанко, вскочу я с соломы, весь обсыпанный трухой, и брошусь на него! Он кричит и бежит к вязу. Но увидит, что дедушка не шелохнется и некому его защитить, перепрыгнет через него — и к воротам. Дедушка поднимет голову, нахлобучит шапку, и один его ус начинает сердито топорщиться:

— Ох, сейчас и всыплю я вам, разбойники вы этикие! Ну погодите!

Но он никогда не успевал нас поймать, а потом уже отходил. Иногда он загонял нас на вяз. Брату некуда было деваться, и он карабкался по лестнице, я за ним. Взобравшись на толстый, наклонившийся сук, мы поглядывали вниз и поддразнивали дедушку:

— А вот и не поймаешь!

Дедушка суеился внизу и безуспешно пытался достать нас палкой. А влезть по лестнице он не мог — она и нас-то едва



удерживала. Он ругал нас, когда понарошку, когда по-настоящему в сердцах, но вскоре уходил, давая нам возможность спуститься. Мы знали, что он нас любит, и никогда на него не сердились.

Но больше всего мы любили вертеться около бабушки. По большим праздникам она пекла вкусный хлеб, украшенный птичками и веточками, сделанными из теста, и может быть, из-за этого хлеба мы любили бабушку больше. Потому что нам надоело весь год есть только просяной хлеб и мамалыгу. Если находилась чистая мука, как у нас называют пшеничную муку, бабушка ставила тесто и покрикивала на дедушку:

— Чтoб пропала та Вачова мельница, опять мука подгорела!

Мы с Шанко ничего не понимали в этом деле и радовались, что будем есть свежий хлеб. Мы присаживались на корточки около бабушки и следили за каждым движением проворных ее рук. Когда мы очень ей надоедали, она одергивала нас:

— Не болтайтесь тут под ногами!

И добавляла мягче:

— Ну, внучата, напечем хлеба, угощу каждого куском, чтобы рос молодцом!

Бабушка Неделя была мастерицей печь свежий хлеб. Замесив тесто, она накалывала его вилкой, подметала раскаленный очаг и клала тесто на горячие кирпичи. Потом собирала кочергой остывший пепел и посыпала им тесто, а сверху накидывала угольный жар. А мы дрожали и думали: «Пропадет хороший хлеб, один пепел останется». Но бабушке ничего не говорили, она знала свое дело.

Пока хлеб выпекается, мы сидим на корточках возле очага, и глаза наши — в очаге. Вот под угольями на запеченной корке хлеба поднимается пузырек, лопается и выпускает фонтанчик пепла. Мы смеемся. Шанко хлопает в ладоши — и опять мы замолкаем: ждем, когда поднимется новый фонтанчик.

Когда хлеб испечен, бабушка вынимает его из пепла и кладет на стол. Он еще горячий, но бабушкины ладони твердые, все в трещинах, и она не боится обжечься. Мы пробуем дотронуться до хлеба пальцами, отдергиваем руку, притворно плачем, а потом громко смеемся. Но хлеб еще не готов, и мы дрожим от нетерпения. Сейчас бабушка смахнет пепел гусиным пером, отобьет скребком пригоревшие места, намочит хлеб водой и завернет его в особую скатерку, чтобы корочка стала мягче. Мы скулим от нетерпения, а бабушка говорит:

— Терпите, милые, пусть хлеб отлежится да вкуснее станет.

Когда хлеб наконец отлежится, бабушка отламывает нам по куску, и мы сломя голову мчимся во двор. Там нас встречает Лишко. Лишко любит играть с нами, но сейчас его больше волнует запах теплого хлеба. Он приседает перед нами, вертит хвостом, поглядывает на нас то одним, то другим глазом, облизывается и жадно глотает слюну. Мы бросаем ему кусочки хлеба, и он подхватывает их на лету. Это нас забавляет, и мы подбрасываем ему кусочки побольше. Иногда бабушка ругает нас за это, но мы ее не боимся — мы знаем, что она никогда не поднимет на нас руку.

Маленькая, худенькая, но жилистая, очень волевая, бабушка никогда не сидела без дела. Сама подчас обиженная и униженная, она дала себе слово делать людям только добро. И делала.

Мама была совсем другая. Крупная, краснощекая, готовая горло перегрызть за своих детей. Да это и понятно — она ведь была нам и за мать, и за отца. Отец ушел на военную службу через три-четыре года после женитьбы, потому что дедушка женил его в шестнадцать лет. А потом началась Балканская война, за ней Межсоюзническая, а после отец остался на службе в



БИБЛИОТЕКА КГПИ
Инв. № 25655

Белоградчикском полку, и там его застала первая мировая война¹. И мама была все одна и одна, и было ей, конечно, обидно, и иногда она изливала мѹку свою на нас, детей. Часто ходила она с припухшими и покрасневшими глазами, но никогда я не видел, чтобы она плакала. Перед людьми она всегда держалась твердо, потому что и характер у нее был твердый. Я очень боялся ее, хотя она редко меня наказывала. Но мама была строга и всегда добивалась того, что от нас требовала. Когда она меня догоняла, чтобы нашлапать, я весь съеживался, как собачонка, и умолял ее:

— Ой, мамочка, не надо, не бей меня!

И она не била меня. Только отворачивалась, но я видел, что глаза ее влажны, а веки покраснели. И я старался не сердить ее, понимая, что и без того тяжело у нее на душе. Без ее разрешения я не смел выходить на улицу, и если ворота были открыты, спешил их затворить, чтобы не поддаваться искушению. Соседка наша, Спаса Кыртичкова, часто говорила маме обо мне: «Да пусть, Ценка, он играет с моими, смотри какой он стеснительный. Глупеньким останется». Но мама знала, что ее дети не глупенькие, и отвечала: «Без отца растут. Если их не держать в строгости, избалуются».

Может быть, оттого я остался молчаливым и необщительным. Я привык разговаривать сам с собой, и другому трудно было проникнуть в мои мысли. Однако и маленькому приходилось брать остѣн² и гнать буйволов на пастбище или вести их в борозде, пока дедушка придерживает деревянную соху. Тогда у нас были два упряжных буйвола, две дойных буйволицы и две телки. Луга своего мы не имели, дедушка нанимал у соседей землю, и я по целым дням бегал за буйволами, чтобы они не забирались на чужую пашню. Вечером я возвращался, падая от усталости, и валился, не раздеваясь, на постель. Засыпал мгновенно. Тогда мама наклонялась надо мной и долго меня будила:

— Ванчо, Ванчо, встань, милый, потом ляжешь...

¹ Балканская война (1912—1913) — война поддерживаемого Россией Балканского союза (Болгария, Сербия, Греция, Черногория) с Турцией, закончившаяся поражением Турции. Межсоюзническая война (1913) — война Болгарии против Греции и Сербии, к которым присоединились Румыния и Турция, закончившаяся поражением Болгарии. Эти войны привели к обострению международных противоречий, ускорив подготовку и развязывание первой мировой войны.

² Остѣн — длинная заостренная палка, которой погоняют запряженных буйволов, волов и пр.



Это означало, что надо встать, снять пиджачок, скинуть цервули¹, а потом снова лечь. Отсюда и пошла у нас, детей, такая поговорка. Когда один из нас ложился, другой наклонялся над ним и, стараясь подражать маме, повторял:

— Встань, милый, потом ляжешь...

Сколько у меня дорогих воспоминаний о дедушкином доме! Но сейчас дома нет. И села нет. Название у него то же, но за ним стоит не мое родное село, а другое — с широкими и прямыми улицами, с чистыми двориками за красивыми бетонными оградами, с новыми и большими домами, к которым ведут цементные дорожки под арками из буйного вьющегося винограда. Дворы стали маленькими и тесными и выглядят еще теснее, потому что засажены овощами, зеленью и цветами, они чисты и аккуратны как городские. Ну и так далее... Нет сейчас и того мальчика, о котором я рассказываю. Он носит мое имя, мой отец — и его отец, и мне трудно сейчас поверить, что тот мальчик — я сам. И я иду за ним через дымку лет, как за другим, ничего общего со мной не имеющим, существом. И буду идти за ним дальше, потому что не могу иначе.

¹ Цервули — самодельная обувь из невыделанной свиной кожи.

Война продолжалась. Первая мировая. Мужчины были на фронтах. Женщины, старики и дети пахали, сеяли, жали, молотили. Потом появлялась реквизиционная комиссия и забирала большую часть зерна и подходящую скотину. В такие дни солнце исчезало, наступала страшная ночь отчаяния. Волна женского плача перекатывалась со двора во двор, и по ее движению можно было проследить путь реквизиционной комиссии во главе со старостой Петром Гурзовым.

Женский плач — как чума, и никогда не знаешь, в чем дворе он разразится. Но этот плач бывает разным, он имеет свой язык, и все этот язык понимали. Плакала женщина одна, у себя в доме, — село замолкало, скованное горем. Все знали — пришла весть еще об одном убитом на фронте. Тихо и протяжно звонил тогда колокол, звонил до самого вечера. Женщины собирались у колодца или у ворот, они стояли понутив головы, разговаривали тихо, шепотом. Чужое горе ложилось на сердце как свое, и никто не позволял себе смеяться, балагурить, это было бы насмешкой над чужой бедой, чужой скорбью. Село было одним организмом, и где ни ударишь — боль отзывалась всюду.

Однако жизнь шла своим путем, надо было жить, надо было кормиться. Люди молча запрягали волов и шли в поле. Легче плакать над бороздой, над молчаливой, но все понимающей мученицей земель. Море получится, если собрать слезы того времени. Но земля выпивала их в своем сострадании к людям, чтобы поддержать в них веру и надежду...

В те дни отец лежал в больнице, раненный в обе ноги. Шло лето 1916 года. Из больницы к нам приходили письма отца. Мама была неграмотной, письма читал ей дедушка. Я очень удивлялся тому, что голос отца доходит до нас из дальней дали и очень хотел, чтобы и мой голос дошел до него. Только как это сделать? Я спросил дедушку, он сказал:

— Это можно, сынок, можно. Если умеешь писать.

Тогда я начал приставать к нему, чтобы он научил меня писать. Но дедушка считал, что я еще мал для этого, — мне едва исполнилось шесть лет. И все же мог ли я отказаться от мысли послать свой голос отцу? И я целыми днями ходил за дедушкой и упрашивал его:

— Научи меня, дедушка! Я хочу написать отцу письмо.

В конце концов дедушка нашел где-то бумагу, карандаш и сказал мне:

— Ну ладно, если уж так хочешь. Вот тут написано «Аз

большой» и «Аз маленький». Ложись на кровать и изрисуй весь лист этими буквами.

Метод дедушки был прост. В левом верхнем углу листа он писал заглавную и маленькую букву по порядку азбуки, а я должен был заполнить весь лист. На другой день он дал мне новый лист с буквами «Буки большие» и «Буки маленькие», на третий — с «Веди», на четвертый — с «Глаголом» и так до конца азбуки. Дедушка называл буквы по-церковнославянски. И не только сами названия букв мне казались странными, но и то, что дедушка, живя при турках, четыре года учился в церковном училище. Он нес в себе дух эпохи Возрождения со всей ее удивительной чистотой и верой. Сам того не сознавая, я находился под сильнейшим влиянием дедушки.

— Ну вот, добрались и до конца,— вздохнул дедушка, когда однажды я написал последнюю букву азбуки.— Теперь пиши всю азбуку подряд.

И я написал всю азбуку, переписал еще раз, прочел вслух, а дедушка просмотрел и исправил мои ошибки. Когда я выучил всю азбуку, дедушка взял лист бумаги. Потом почесал в затылке.

— Буквы — это просто,— сказал он.— Но буквы сами по себе ничего не значат. Буквы — как пшеничные зерна, а зерна живут, когда они в колосе. В колосе может быть десять, пять или даже меньше зерен. И запомни: колос получается, когда несколько букв соберутся вместе. А зовется этот колос словом. Возьмем, например, слово «баба».

И дедушка принялся писать и, показывая на каждую букву, произносил:

— Буки, аз — ба, буки, аз — ба, баба. Понял? Вот тебе и все уменье. Знаешь буквы — придумывай слова и пиши! «Мама, папа, дядя, тетя...» И зачем я тебя только мучил,— добавил дедушка вполголоса.— На будущий год пойдешь в школу, намучаешься еще порядком.

Но я хотел скорее послать письмо отцу и не желал ждать целый год. И я лег на кровать и снова начал играть в буквы и слова. Потому что для меня все это было игрой, а что может быть для детей важнее игры? К тому же я имел и заветную цель в этой игре. И я выпускал из рук карандаш только когда надо было есть или спать.

Так проходили дни. Я все увереннее соединял зерна в колосья, и это доставляло мне бесконечную радость.

Пришло время, и я написал письмо отцу. Я показал его дедушке. Он отодвинул лист подальше от глаз, долго смотрел на него, хмурился, но в конце концов улыбнулся.

— Хорошо. Хорошо, хорошо.— И ущипнул меня за щеку. В тот момент не было на свете никого счастливее меня. Значит, отец услышит мой голос, ему станет жалко меня и он скажет: «Трудно мальчонке жить без меня, вот возьму и приеду к нему».

Пока дедушка надписывал конверт, я устроился в углу и снова прочел свое письмо: «Папа приезжай ко мне очень мне трудно без тебя». Дедушка взял мой листок, а я выжидающе смотрел — положит он его в конверт или не положит...

С того дня дважды в неделю я вертелся около общины. Ну и радость же была, когда я получил ответ от отца!

Но вместе с тем пришло и разочарование. Отец, видимо, не умел писать такие красивые буквы, как я, в его письме были одни каракули, и я ничего не понял. К моему стыду письмо прочел мне дедушка — как маме, но она же была неграмотной! Я заплакал от обиды, а дедушка вздохнул:

— Ну и забот мне с тобой! Но коли уж взялся за гуж, не говори, что не дюж... Старуха, а старуха! — так дедушка называл бабушку.— Помнится, в верхней комнате у Нистора были какие-то книжки.

Я бросился вслед за бабушкой. Она зажгла свечку и сунула ее мне в руки. Я уже не боялся входить в верхнюю комнату, мне было даже смешно, как я мог принять соду для стирки за вампира! Я держал свечку, пламя колебалось от моего дыхания, по стенам плясали тени. Бабушка нашла наконец книги в одном из сундуков:

— Вот они. Две только. Больше нету. Отнеси дедушке.

Дедушка раскрыл первую книгу — толстую в черном переплете, — полистал, пробормотал что-то непонятное и добавил:

— Велика очень, не для тебя. Дай другую! «Многострадальная Геновева». Эта поменьше, да и картинки есть. Начнем, пожалуй, с нее.

Позже я узнал, что толстая книга в черном переплете называлась «Записки о болгарских восстаниях», ее написал Захарий Стоянов. Книга открывалась его портретом, сделанным в Вене.

По «Многострадальной Геновеве» мы с дедушкой учили печатные буквы. Потом он стал задавать мне разные задачки. Для меня оживали и буквы и цифры. Дедушка хвалил меня перед мамой, говорил, что я умный и сам решаю трудные задачи.

Пришла зима. Я весь день лежал на кровати с раскрытой «Геновевой». И сейчас еще удивляюсь, откуда у меня бралось столько терпения и упорства. Дедушкин метод обучения вырабатывал у меня самостоятельность, я пытался постигать тайны



жизни, а тайны письма казались мне самыми недоступными и потому самыми заманчивыми.

В конце зимы я читал уже довольно свободно. Однажды я почувствовал потребность в слушателях и предложил маме прочитать ей «Геновеву».

— Почитай, Ванчо, почитай, сынок! — согласилась мама.

Она взяла прялку, пристроила ее на коленях и села на кровать. Я примостился рядом, раскрыл книжку, подпер ладонями щеку и начал читать. Мама слушала внимательно. Я читал медленно, но без запинок, и веретено мне подпевало. Время от времени мама вздыхала: «Ох, горемычная! Ох, сиротинушка!» Слушая тяжелую сцену, когда Голос прогнал Геновеву с малым ребенком в лес, где лишь одна серна сжалась над несчастной и дала ей для ребенка молока, мама положила веретено и заплакала. В первый раз на людях. Сейчас мне кажется, что плакала она не столько о Геновеве, сколько о себе. Чужая судьба переплелась с ее собственной, потому что судьба Геновевы очень походила на мамину: Зигфрид, муж Геновевы, ушел на войну — мой отец тоже; ребенок ее несколько лет рос без отца — и я тоже. Сколько проклятий посылала мама скверному человеку Голосу, с какой радостью встретила его наказание! Эта наивная книга дала мне первые уроки жизни, я учился различать добро и зло, понимать, что нужно любить и что — ненавидеть.

Дни напролет я читал «Геновеву», а приходило время почты — мчался к общине. Однажды — это было в марте — моросил мелкий дождь, стояла густая, влажная, серая мгла. Я зашел в общину погреться. Бай¹ Макавей, секретарь общины и сборщик налогов, принимал почту. Бай Макавей был человек пожилой, широкий в плечах, на которых сидела крупная голова, с темным землистым цветом лица и большим прыщеватым носом. Все его звали бай Макавей, и я тоже, хотя правильней было бы звать его дедушкой Макавеем.

В канцелярии находился стол, за которым работал бай Макавей, еще один столик в углу и стул. Когда я вошел, бай Макавей приподнял голову, кивнул мне и снова уткнул нос в бумаги. В тот день он был в комнате не один — за маленьким столиком сидели две женщины. Я их узнал по городской одежде — это были две учительницы. Они тоже ждали почту. Одна из них нервно покачивала ногой.

«Эта, худенькая, — подумал я, — учительница Тодорка. Она, наверное, строгая и злая. А та — полная, усатая — учитель-

¹ Бай — почтительное обращение к мужчине старшего возраста.

ница Стефка. Она выглядит доброй, надо через год постараться попасть к ней». Думал я так, а от смущения не знал, куда деваться, что делать. Случайно я увидел на краешке стола газету. Я тихонько подошел к столу, оперся на него локтями и нагнулся над газетой, не смея придвинуть ее к себе. И зачитался. Читал я вслух, потому что не умел иначе, да и вообще все, что написано или напечатано,— это чей-то голос, значит, надо читать вслух!

Я опомнился, когда почувствовал за спиной учительницу Стефку. Я растерялся, дернулся, словно уличенный в краже, язык мой одеревенел.

— Читай, читай! — ласково сказала учительница. — Ты очень хорошо читаешь. Ты здешний? Бай Макавей, чей это мальчик?

Она говорила мягко-мягко; я удивился, откуда такой нежный голос в ее широком, усатом рту.

— Это внук бая Милчо, — ответил бай Макавей. — Отец его в больнице, на фронте ранен. Уже с полгода. Мальчик ждет писем.

— Удивительно! — притянула меня к себе учительница. А платье у нее тоже было мягким-мягким. У нее все было мягким: и голос, и платье, и взгляд.

Она долго смотрела на меня, потом пригладила мои растрепанные волосы и спросила:

— Кто же научил тебя читать?

— Дедушка.

— Бай Милчо — грамотный, — пояснил бай Макавей. — Он грамотней меня. Двадцать лет у нас был старостой. И меня научил порядку на службе.

— Он читает лучше моих сорванцов, — удивилась учительница Тодорка. — Как в третьем и четвертом классе. А как тебя зовут?

— Ванчо.

— А родился когда?

— Зимой. Я не знаю, в каком году.

Учительницы рассмеялись, пошептались о чем-то, потом учительница Стефка сказала:

— Слушай, Иванчо, приходи завтра в школу с дедушкой. И метрику принеси. Понял?

— Понял, — ответил я, хотя и сам не знал, что именно понял. Дедушка ведь говорил, что я пойду в школу на следующий год, зачем же они зовут меня сейчас?

Вечером, убравшись, мама нагрела воды, выкупала меня, надела на меня новую рубаху, приготовила мне чистые чулки и

«выходную» одежду. Выходная одежда была летней, к тому же — сшитой по-городскому, но другой не было. Мама очень старалась, чтобы я не походил на сироту, и следила за тем, чтобы я выглядел прилично. Нелегко было привести в порядок мои ногти. В доме были одни ножницы, очень большие, цыганской работы, оба ушка были обернуты материей. Дедушка стриг ими овец. Но я вытерпел все муки. Да и что это значило в сравнении с тем, что ожидало меня завтра!

Пока управились со всеми делами, настала полночь. Мне долго не спалось. Задремал я поздно — наверно, под утро. Еще во сне я почувствовал мамину руку на щеке. Мама позвала: — Ванчо! Вставай, сынок. Рассвело уже.

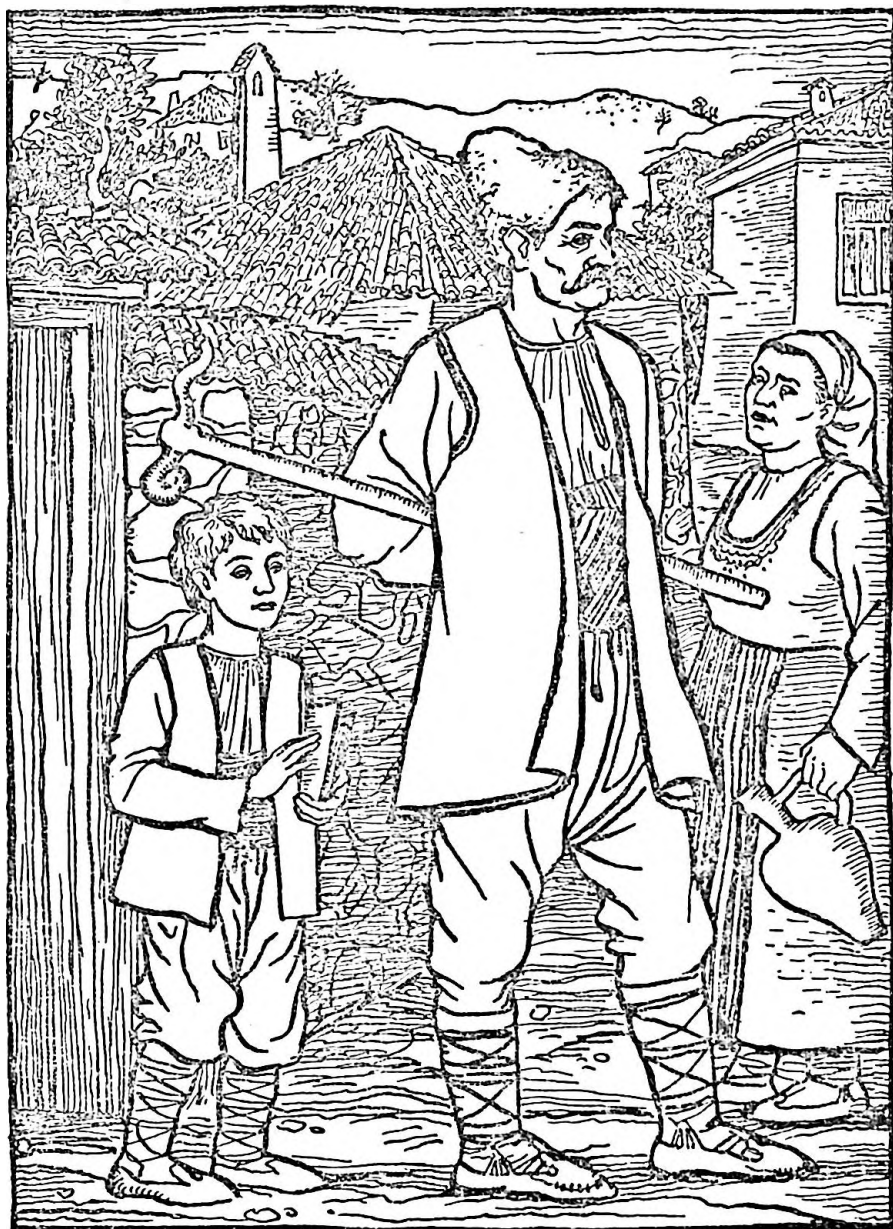
Я открыл глаза, протер их и, вспомнив, что меня ожидает, вскочил и схватил свою парадную одежду.

Увидев, что и дедушка принарядился, я понял, что пришел праздник. Праздники — это дни, когда солнце светит ярче, скот стоит в стойлах, люди не выходят на работу. И я в такие дни был совсем другим.

В праздничном настроении и — что скрывать! — немножко побаиваясь, я семенял за дедушкой. Он ступал с гордо поднятой головой, с чувством собственного достоинства. Неважно, что он бедняк, — он целых двадцать лет был старостой села да к тому же самым грамотным в селе человеком!

Еще в школьном дворе сердце мое начало трепыхаться, а когда мы подошли к учительской — и совсем остановилось. В комнате был только Стефан Булин, школьный сторож. Полный, с выпяченным животом, с широкими, обвислыми усами. Тот самый дядюшка Стефан, который будет служить в школе и спустя двенадцать лет, когда я войду сюда уже как молодой учитель. Мог ли я знать, что дядюшка Стефан послужит мне «моделью» капиталиста для того злополучного «антиправительственного» занавеса, который я нарисовал и из-за чего впервые столкнулся с тогдашними властями?

Я было дал себе слово не впутывать себя, взрослого, в эту повесть, но раз уж речь зашла о занавесе, придется рассказать об этой истории. Я окончил Ломское педагогическое училище восемнадцати с половиной лет, и меня послали учительствовать в мое родное село. А у нас в селе — ни в библиотеке, ни в школе — не было сцены. Тогда я решил устроить сцену в одном из самых больших школьных классов. Старший учитель не возражал, и в каникулы, когда все учителя разъехались по своим родным местам, мы с дядюшкой Стефаном принялись за дело. Из сосновых досок и балок сколотили сцену, я обшил ее переднюю дощатую сторону мешковиной, а мешковину разрисовал



фигурами и орнаментами анельсинового, темно-зеленого и черного цвета. Оставалось нарисовать занавес. Такой рисованный занавес и видел в библиотеке города Лома.

Несколько дней я обдумывал сюжет, делал наброски, и вот, наконец, моя картина ожила перед моими глазами. Рисование стало моим любимым занятием, недаром мои рисунки и глиняные фигурки еще до недавнего времени хранились в кабинете рисования Ломского училища. Мой учитель рисования пророчил мне будущее хорошего художника.

И начал лихорадочно работать. Может быть, то, что я рисовал, теперь выглядит наивно, но тогда это казалось мне настоящим произведением искусства. Посреди занавеса возвышался античный павильон, в котором греческий юноша играл на лире. Юноша с лирой символизировал искусство. За павильоном простиралось печальное желтое поле, над ним — серое небо с низко нависшими тучами. По полю — от края до края — тянулась вереница людей: мужчины, женщины, старики, дети. Их подгоняли конные стражники. Люди, постепенно уменьшаясь в размерах, шли к трем крестам библейского распятия. Толпа олицетворяла народ, а распятие — войну и нищету. На переднем плане — с двух сторон павильона — были изображены две крупные фигуры. Они символизировали два класса — бедных и богатых. Бедного я нарисовал с нищенской сумой, на шее у него висела металлическая табличка. Такие таблички носили те, кому разрешалось просить милостыню. В ногах у нищего лежал измученный голодом мальчонка. С другой стороны мне надо было изобразить капиталиста, восседающего под фигурой Золотого тельца на золотом троне. В руки капиталиста я хотел вложить большой кошель золота. Я долго думал, как нарисовать капиталиста. И однажды мне пришло в голову использовать в качестве натуры дядюшку Стефана. Я посадил его на стул и начал рисовать. Когда капиталист был готов, дядюшка Стефан оглядел его и рассмеялся: «Ну и ну, и отделал же ты меня!словно я родился капиталистом!..»

А сейчас этот самый дядюшка Стефан сидел против дедушки, и они о чем-то говорили. А я, успокоенный тем, что учительниц не было, разглядывал то любопытные стенные часы, то картины с какими-то незнакомыми мне животными: это были львы, тигры, носороги, слоны. Вскоре дядюшка Стефан вышел, и тут же нетерпеливо зазвенел школьный звонок. Двери шумно растворились, обе учительницы вошли в комнату одновременно. Я застыл на месте.

— А, Иванчо! Добро пожаловать, бай Милчо! — воскликнула, улыбаясь, учительница Стефка. — Мы уже знакомы с

Иванчо. Ты очень хорошо научил его читать! Дай мне его метрику.— И, глянув на бумагу, учительница Стефка улыбнулась, как будто нашла там что-то смешное.— Мы берем его в школу.

Больше я ничего уже не слышал. Учительница подошла ко мне и погладила меня по голове. Значит, я теперь школьник! А на дворе стоял уже март, до конца учебного года оставалось не больше трех месяцев...

Звонок зазвенел снова. Учительница Стефка взяла меня за руку и куда-то повела. У дверей дедушка оставил нас и быстро исчез. Мне стало страшно, словно я расстался с ним навсегда. Но для страха у меня не было времени, потому что я уже переступил порог школьного класса. Ребята поднялись с мест, как по команде. Учительница дала им знак сесть, все сели одновременно. Меня посадили на первую парту, рядом с какой-то девочкой. На соседней парте я увидел Правку и Стефанку — дочек Харлампия Чалата. Они были второгодниками, их я знал; лучше бы меня с ними посадили! С задних парт донесся смешок. Ясно, надо мной смеялись, потому что я сидел с девочкой. Я проглотил обиду, в горле у меня пересохло. Но ребята наблюдали за мной с любопытством, я был предметом их внимания, и это мне льстило.

— Дети,— сказала учительница,— теперь у вас новый товарищ. Иванчо немного запоздал, но вы не важничайте, он читает лучше вас. А сейчас у нас будет урок арифметики. Рангел, иди к доске!

Рангел был сыном старосты Петра Гурзова. Того самого Гурзова, который поотбирал у людей пшеницу и скот. Отец его вел расчеты со всем селом, а Рангел не мог решить простенькую задачку. Он написал на доске: $14-8=$ и стоял столбом, тупо глядя в написанное. Думал он, думал и, наконец, вывел рядом цифру «7». Класс зашумел, девочки подняли руки. Но я не знал, что надо поднимать руку, и еще не научился терпению, поэтому я крикнул:

— Эх ты, Рангел! И вовсе не так!

Я подбежал к нему, выхватил у него из рук мел, плюнул на ладонь, стер семерку и на ее месте написал цифру «6». Все засмеялись. А чего смеяться? Я же верно решил задачу.

Мальчишка, который смеялся надо мной за то, что я сидел с девочкой,— наверно, он был второгодником,— пробубнил:

— Школьник тоже! А порядка не знает!

Это еще больше смутило меня. Учительница улыбнулась, взяла меня за руку и отвела к парте.

— Молодец Иванчо, ты правильно решил задачу. Но у нас

есть правило. Если ты хочешь что-нибудь сказать, ты должен поднять руку, как другие. Когда тебе разрешат, ты ответишь. А ты, — повернулась она к второгоднику, — ты не смейся. Иванчо тебя догонит и перегонит... Отец его в больнице, вернется домой без ноги...

Девочка, сидевшая со мной, огорчилась, явно сочувствуя мне, и это меня обрадовало. А потом случилось нечто, поднявшее мое настроение еще больше. Не знаю, случайно или намеренно учительница написала на доске довольно трудную задачу и обернулась к нам. Никто не поднял руки. Учительница помолчала, подождала, потом посмотрела на меня:

— Ну что, Иванчо, хочешь поднять руку?

Я действительно решил задачу и сам собирался поднять руку. Я вышел и написал правильный ответ. На этот раз никто не смеялся. Это была победа, ребята приняли меня как равного...

Только второгодник смотрел на меня косо. Позже он всегда находил повод толкнуть меня, ударить, подставить мне подножку. Зато все девочки за меня заступались. Особенно Правка и Стефанка — для Стефанки я вообще был самым смелым мальчиком. Они вдвоем защищали меня как орлицы, били второгодника кулаками, а иногда ждали меня у ворот и провожали домой, потому что тот и на улице преследовал меня.

Вот и пришел день Кирилла и Мефодия¹. Нам выдавали табели. В мой табель была вписана одна закругленная толстая шестерка. Как та, которую я в первый раз написал на классной доске...

А какой праздник был в тот день! Все дома, в которых жили школьники, просыпались еще затемно. Матери готовили самые вкусные блюда. К обеду отцы приносили в школу столы. Они несли их ножками кверху на головах, придерживая одной рукой, а в другой у них было по два стула. Женщины пробегали мимо с сумками, кастрюлями и противнями. Столы расставлялись в школьном дворе по отделениям², женщины уставляли их блюдами с едой, а мы, школьники, толпились вокруг своих учительниц, которые давали нам последние указания. Предстояло большое дело — мы должны были держать экзамен перед всем народом! Потом мы выходили один за другим, по очереди, становились перед столами и декламировали стихи.

¹ Кирилл и Мефодий — выдающиеся славянские просветители IX века. Их деятельность способствовала созданию литературного языка, а то время общего для значительной части южных и западных славян. День Кирилла и Мефодия — 24 мая — считается днем славянской письменности.

² В Болгарии классы начальной школы прежде назывались отделениями.



Я читал «Это две монетки, дядя мне их дал». Пока я выступал, мама сидела опустив голову, спрятав повлажневшие глаза под косынкой, а дедушка лопался от гордости — ведь это он меня научил читать и писать! Может быть, и его глаза были влажными, потому что он все время подкручивал усы. Когда он волновался, он всегда так делал.

После чтения стихов мы пели песенки, делали гимнастические упражнения. В конце нам раздали табели. Те, у кого были шестерки, бегали вокруг столов и хвастались перед всеми. Мне кажется, они, сами того не сознавая, проявляли жестокость по отношению к тем, в чьих табелях было написано «Плохо (2)». Что делать, в жизни всегда так: каждому воздается по заслугам и каждый сам отвечает и за свои успехи и за свой позор..

Когда церемония заканчивалась, приступали к общей трапезе. Потом сельские музыканты начинали играть хорó¹, и те из нас, у кого на сердце было радостно, плясали вместе со взрослыми. Но я всегда — все школьные годы — жалел второгодников...

3

Когда отца взяли в солдаты в Белоградчике, мне было полтора года. Первый в семье ребенок, Борис, умер, я был вторым. Из казарм отец отправился на фронт — началась Балканская война. Первое мое воспоминание о том времени относится к трехлетнему возрасту. Из отцовских писем, которые дедушка читал вслух, потому что мама и бабушка не знали грамоты, я запомнил только три странных слова, запомнил именно потому, что они были странными. А может быть, и потому еще, что я задумал написать отцу письмо. Вижу себя пристроившимся у очага с угольком в руках — угольком я рисовал на закопченной стене кружок, который упорно не хотел получаться. Я старался, действуя одновременно и рукой, и языком; в конце концов кружок выходил маленький и кривой. Тогда я выкрикивал: «Люлебургаз!» — и тем же способом выводил другой кружок, говоря: «Чаталджа», а потом рисовал третий — «Енджикьой»...

Сейчас я знаю, что это названия городов, под которыми отец воевал в Балканскую войну, но мальчиком этого не знал. Я искал в нарисованных кружках своего отца и просил его вернуться.

Однажды вечером — может быть, вскоре после окончания

¹ Х о р ó — народный танец.

войны — отец приехал в отпуск. Но я так и не успел познакомиться с ним. Это звучит странно, если не рассказать, как прошел тот вечер.

Мне не было еще и четырех лет. Я знал, что у меня есть отец, но помнил его только по фотокарточке, приколотой к иконостасу.

Мы были бедные люди; дедушка часто закидывал на плечи наметку¹ и отправлялся на речку, а под вечер приносил домой мелкую рыбешку — пескарей, плотву... И в тот вечер он принес рыбу, и бабушка уже поставила на огонь горшок, чтобы сварить уху.

Погода была ужасная. В печной трубе бесновался ветер, послушаешь — и становится страшно. Мне казалось, что ветер сейчас спустится по трубе, свалится в очаг, перевернет горшок, ошпарится и, разозлившись, схватит недогоревшую головню, размахнется и перебьет всю посуду на лавке. А может быть, и меня ударит и спросит: «Ты почему такой маленький?» Я отвечаю ему, что я не маленький, потому что, когда залезу на стул, достаю до отцовской фотографии. Но ветер разозлится еще больше: «Нет, ты маленький, маленький! Если я дуну в трубу, ты вылетишь отсюда, и я заброшу тебя на вяз деда Средко с аистинным гнездом! Посмотрим, как ты спустишься с него, не имея крыльев!» И я мечтал скорее стать больше и еще о том, чтобы у меня выросли крылья.

За ужином я вдруг закашлялся, так, что Лишко залаял на дворе. Мама взяла меня на колени, бабушка испугалась, дедушка стал их успокаивать, но я заметался еще сильнее от боли и страха, у меня в горле застряла рыбная косточка. Мама испуганно воскликнула:

— Помоги, тато, ребенок умирает!

Я не понял, умер ли я или еще не умер, мне было только страшно, я чувствовал, что мне в горло впилась кость, похожая на здоровенную цыганскую иглу, и у меня уже не было сил плакать. В это время дверь оджака открылась, и в дом ворвался ветер. Я испугался еще больше. На пороге стоял мужчина, очень странно одетый. На голове его была чудная шапка с блестящей продолговатой металлической пуговицей (это была кокарда), и на одежде сверкали золотые пуговицы. Мама, неизвестно почему, закричала еще громче. Поняв, в чем дело, человек скинул с плеча свой мешок, надетый на длинный нож, и подошел ко мне. Все случилось так неожиданно, что

¹ На метка — рыболовная снасть, напоминающая по виду сачок для ловли бабочек, но значительно больших размеров.

я забыл про боль и во все глаза смотрел на длинный нож. Тогда я не знал, что это была сабля. «А как блестят золотые пуговицы у этого, с длинным ножом! Я попрошу у него одну. Не для того, чтобы поиграть, а чтобы только показать мальчишкам,— вот удивятся!» Не успела в моем мозгу промелькнуть эта мысль, как меня снова охватила невыносимая боль! Гость посадил меня к себе на колени, велел маме посветить ему лампой и сказал:

— Открой рот!

Запрокинув мою голову и заглянув в горло, гость залез туда двумя пальцами и через мгновение поднес к моим глазам косточку.

— Вот она,— сказал он просто и повернулся к маме: — А ты ему чисти рыбку получше.

Уставший от боли и страха, я вскоре уснул. Когда проснулся, солдата уже не было. Я навряд ли осознал тогда, что это был отец. Понятно, что эту первую мою встречу с ним трудно назвать знакомством...

Мне никогда не приходила в голову мысль, что отец может вернуться. Я привык ждать его писем, и мне казалось, что так будет всегда. У меня есть дедушка, бабушка, мама, и они всегда будут дедушкой, бабушкой и мамой. Так же, как и я, ребенок, всегда буду ребенком. Но что такое отец? Во всяком случае он не похож на дедушку, бабушку и маму. Отец — это значит большой богатырь. Этот богатырь ходит по земле и если где увидит плохих людей — вроде нашего соседа Софрона — вжжик их саблей! А может быть, он убивает не плохих людей, а каких-нибудь англо-французов или сенегальцев? Все равно он сильнее всех!

А где-то в мире бушевала третья в моей жизни война. Она называлась первая мировая. Однажды пришло письмо, что отца тяжело ранило в обе ноги. Дедушка рассказывал, что его ранило разрывной пулей «дум-дум». Разрывная пуля, попадая в тело, взрывалась там и разбивала все кости. Так она разбила отцу правое колено. «Ему отрежут ногу», — шепнул дедушка маме, но я слышал все, хотя это старались от меня скрыть. А может быть, дедушка говорил ей просто так, чтобы напугать меня? Не могут же богатыри быть с одной ногой. Богатырь из дедушкиной сказки отдал свою ногу, чтобы накормить доброго орла, который носил его по небу. А орел за это подарил ему еще более крепкие ноги. Вчера я слышал от дедушки, что и отцу сделают новую ногу. Вот это уже другое дело, значит, отец — настоящий богатырь! Только мама, видно, думала иначе, потому что, когда я начал хвастаться, что отцу сделают ногу еще лучше, чем

была, она расплакалась и стала меня ругать. А за что, спрашивается? У отца будет нога лучше старой, а она...

Этих взрослых не поймешь. И вообще они во многом не разбираются. То, что мне хорошо, им — плохо, вот они и ругают меня. Иногда скажут что-то, потом сами от этого отказываются. Даст мне, например, мама кусок брынзы и большой ломоть просяного хлеба и велит брынзу лизать, хлеба — отхватывать побольше. И выгоняет меня во двор, чтобы я не путался у нее под ногами. А как я могу путаться, я же не нитка и не веревка. Странные вещи говорят иногда взрослые. «Ты у меня вот где сидишь», — говорит бабушка и проводит рукой по горлу. А как я могу там сидеть, спрашивается? «Есть хочется, в животе скрипка играет», — говорит дедушка. А как это скрипка может в животе оказаться?

Ну вот, выхожу я во двор, а на пороге меня встречает Лишко. Добрый и умный пес Лишко, но и на него все почему-то сердятся. Лежит, например, Лишко на дорожке, по которой надо пройти дедушке, машет хвостом, хочет сказать что-нибудь приятное, а дедушка вдруг схватит какой-нибудь дрын, да как швырнет в Лишко! Завизжит Лишко жалобно, заковыляет на трех ногах и спрячется в бурьяне. Да и там продолжает скулить и лизать ушибленную лапу. В общем, и Лишко несправедливо обижают, поэтому мы с ним — хорошие друзья. Лишко не боится меня, а увидит кусок брынзы у меня в руках — так и виляет хвостом, так и ластится ко мне и все на брынзу поглядывает. Я понимаю — он хочет сказать: «Дай мне кусочек брынзы, уж очень я ее люблю!» И я долго измеряю на глазок брынзу и хлеб, и делю их на совершенно равные части, и даю одну из них Лишко. Тогда мама выходит на порог и сердито кричит:

— Ты с ума сошел?! Нам самим есть нечего, а ты будешь собаку кормить!

За что же меня ругать? Разве не сама она учила меня не жадничать, делиться с другими тем, что имею? Часто смущают меня эти взрослые люди. И я уже решил больше не обращать на них внимания, а лучше читать «Геновеву» или сочинять письма отцу. А когда устану, выйду во двор, поиграю с Лишко.

В тот день мы играли в войну и голофранцузов — так бабушка называла англо-французов. Мне уже надоело играть в «гайдуков¹ и турков» и в «волков и овец». Лишко был голофранцуз, я подстерегал его в лопухах с ружьем и саблей, которые дедушка смастерил мне из ивовых ветвей. Наконец я выгнал Лишко из бурьяна и начал преследовать. И тут я сделал открытие. Вместо

¹ Г а й д у к и — повстанцы во времена турецкого ига.

голофранцуза я наткнулся на наседку. Это была пропавшая курица, та самая, про которую бабушка думала, что ее съели соседи. А она снесла яйца, и из них вылупились цыплята. При моем приближении наседка угрожающе нахохлилась, готовая клюнуть меня. Под крыльями ее показались желтые пушистые головки с черными, как мониста, глазками. Цыплята были совсем крошечными и, еще не зная, что такое страх, с любопытством разглядывали меня. Каким же я был великаном в их глазах! Меня распирало от гордости, что я первый нашел наседку с цыплятами, я радовался, как хозяин, и помчался похвастаться перед бабушкой.

Но в этот момент меня остановила странная музыка: дзин-дзин, тап-топ, дзин-дзин, тап-топ, тап-топ! Я побежал к ограде, раздвинул колючие ветки и высунул голову на улицу. И остоленел — это было форменное чудо! По пыльной улице топали два черных, откормленных коня. Какие это были кони! А повозка! Такую повозку я видел только в церкви — она везла святого Илью по белым облакам. А в этой сидел усатый турок с красной феской на голове. Повозка была черная, блестящая, с выгнутыми досками над колесами. Но самыми удивительными были кони — все в золотых пуговицах, с головы до ног. И пуговицы сверкали, да еще как сверкали! Над конскими лбами качались большие красные кисти, а на шеях висели ожерелья из синих монист и золотых колокольчиков. Эти колокольчики пели: дзин-дзин, дзин-дзин! Мне так хотелось, чтобы кони остановились, чтобы я мог наглядеться на них подольше, но фазтон — а это был городской фазтон — исчез из виду.

Когда фазтон достиг сельского колодца, колокольчики заюлкли. Значит, он остановился у наших ворот. Я выскочил из бурьяна и стрелой понесся к воротам. Прижался к ним лбом, выбрал щель между двумя планками и стал смотреть.

Турок спрыгнул на землю, надел на конские морды по мешку с овсом, потрепал коней за ушами и остановился перед фазтоном. Тут только я заметил, что сзади сидел человек в военной фуражке, в серой поношенной шинели без пуговиц. Турок — и наш солдат! Как они могли ехать вместе, если турки — наши враги? А эти держались не как враги. Было чему удивляться! И тут я догадался: турок взял в плен нашего солдата. Но почему солдат ему сдался и почему никто не выходит его освободить? Все было так запутано!

И запуталось еще больше. Турок дружески взял нашего солдата за руку, и солдат улыбнулся ему тоже дружелюбно. Потом он вытащил из фазтона одну ногу, не сгибая ее в колене, и ступил на землю. Лицо его было серое, щеки ввалились, гла-



за — печальные и мутные, как у больного. Турок подал ему палку, подхватил под руку, и они медленно пошли. Как смешно шел солдат! Одна его нога была как нога, но у той, которая не сгибалась в колене, ступня была белая, будто высеченная из камня. И камня, наверно, не хватило, потому что эта нога была короче, и к пятке ее прикрепили железную скобу. Солдат наступал на скобу, пошатывался и чуть не падал.

Турок подвел его прямо к нашим воротам! Я взмок от страха и волнения и побежал прятаться. Позади себя я действительно услышал стук в ворота. Не помню, как я очутился в комнате. Я думал залезть под одеяло, но чудо притягивало меня, как магнит, и я остановился у окна. Все же я нашел безопасное место. Никто меня не видел: я был мал ростом да и цветы на подоконнике закрывали стекло. Я притащил стул и залез на него. Но все становилось еще более непонятным. Откуда-то появилась бабушка. Она замерла на месте, раскрыла рот, чтобы что-то сказать, но не смогла. Потом вдруг язык у нее развязался, и она закричала, насколько хватило у нее голоса:

— Нистор! Ты ли это, сынок?! — и, выбежав во двор, отодвинула турка и взяла солдата под руку.

Турок постоял, посмотрел и пошел к фаэтону¹. Бабушка закричала еще громче:

— Ценка, да Ценка же! Где ты, сноха?! Иди сюда, Нистор вернулся!

Не знаю, почему отца все звали Нистором, когда имя его было Сильвестр. Наверно, это имя казалось людям чуждым и трудным для произношения. Нистор — куда легче и понятнее. Имя Сильвестр дедушка взял из календаря, чтобы ни у кого такого не было. Пусть все знают, что сын родился не у кого-нибудь, а у старосты Милчо Крыстова, самого грамотного человека в Расове.

Но почему бабушка называет этого солдата Нистором? Может быть, она думает, что это мой отец? Смешно! Какой же это отец? Где же его золотые пуговицы, где его сабля? И где это видано, чтобы богатырь был с каменной ногой! Да, отцу отрезали одну ногу, но ему же обещали сделать такую же и еще лучше. Ну и посмеюсь же я после над бабушкой!..

Детям порой невозможно объяснить все до конца.

Я не мог знать, что нога у отца была в гипсе от бедра до

¹ В Ломе, откуда приехал солдат, большинство фаэтонщиков были турки. Там и сейчас живет много турецких семей.



ступни. В сущности, она не была ампутирована, врачи удалили только все раздробленные кости коленного сустава, и голень осталась висеть на сухожилиях. Позже отец пошел в больницу, там ему сняли гипсовую повязку и сделали протез. Протез представлял собой кожаный футляр с железным остовом, длинной от ступни до бедра, обшитый изнутри мягкой материей. Отец обувал протез, завязывал его сверху длинным шнурком, а нога его оставалась висеть в воздухе...

Дверь скрипнула. Я сжался в углу. Вошла бабушка, все так же поддерживая солдата. Мама не появлялась. Да и как она могла появиться, если была в огороде, за версту от дома. А бабушка ее звала. Вот еще одно доказательство, что бабушка потеряла рассудок. Ну и посмеюсь же я над ней! Держась за бабушку, солдат сел на кровать. Каменную ногу он выставил вперед. Железная скоба на пятке была похожа на стремя. Бабушка, как помешанная, хватала то одно, то другое и все время что-то бормотала. Солдат улыбался, а глаза у него были светлые-светлые. Мне стало обидно — и за него, и за бабушкину ошибку, и за себя, за свою обманутую надежду. Если бы пришел настоящий отец! Что-то сжало мне горло, я громко всхлипнул.

— Так это ты тут? — удивилась бабушка. Платок ее сполз на затылок, она поправила его, подошла ко мне и разрыдалась: — Иди, сынок, не бойся! Дал господь, не остался сиротой... Иди поцелуй отцу руку. — И потащила меня к незнакомцу.

Я не боялся его, потому что по глазам понял, что он добрый, но я не мог притворяться, что он мой отец. Мне опять сдавило горло, я неожиданно вырвался от бабушки и побежал к двери. В этот миг мне необходим был Лишко, я хотел перед ним выплакаться, все рассказать ему. Бабушка побежала за мной, я слышал, как она говорила:

— Боже, какие времена настали, дети не узнают своих отцов! Будь проклят и царь, и дела его!

И, догнав меня, прижала к себе и сказала:

— Не бойся, милый, это твой отец. Ты же писал ему, вот он и пришел. Да он и гостинец тебе принес.

— Это не отец! — вырывался я. — Хочу, чтобы пришел отец!

Бабушка снова затряслась от рыданий:

— Боже, оглох ли ты от войн и плачей? Зачем ты наказываешь еще и детей!.. Отец он тебе, милый, отец твой! Пойдем найдем маму, она сама тебе скажет, что это твой отец! — И повела меня в огород.

Вот и хорошо. Я и сам того хотел. Мама обязательно скажет, что это не отец...

Мама не сказала, что это не отец, хотя я только того от нее и ждал. Так же, как бабушка, она назвала его Нистором, и это меня поколебало. Но лишь дедушка догадался, как преодолеть мое недоверие. Он снял отцовскую фотографию с иконостаса, ткнул ее мне в глаза и сказал:

— Ну, гляди лучше. Похож?

Действительно солдат был похож на свою фотографию. Он был только похудее и без усов, а в остальном похож. Волею-неволей приходилось признать этого гостя своим отцом. Хотя я и чувствовал, что это чужой человек.

Вечером дядя и тетки вернулись с поля, дедушка уже был дома, мы собрались все вместе. Каждый расспрашивал отца, что он пережил в больнице. Отец едва успевал отвечать на вопросы. Я запомнил только, что он лежал в больнице четырнадцать месяцев, что больница была немецкая, а сестры — монахини, что он выучил там их язык. И я сам слышал, как отец примешивал к речи немецкие слова, вспоминал швестер Бауман, доктора Фихтера. Что такое доктор, я понял, а «швестер» значило «сестра».

С возвращением отца в доме настали перемены, которые и нравились мне, и пугали меня. Все утвердившееся в моем сознании как постоянное и незыблемое начало рушиться на моих глазах. И отец оставался для меня чужим...

Ночью мы спали как раньше. Длинное ложе оказалось тесным для всех. Утром, когда мама, дядя и тетки ушли на работу, отец сел на постель, его каменная нога снова торчала дыбом. Дедушка присел рядом с отцом, и они разговорились. Я делал в углу ружье из бузины, слушал и запомнил каждое их слово.

— Эта комната нам тесна, — начал отец. — Надо будет привести в порядок верхнюю и нам с Ценкой и детьми переселиться туда. Но эта тоже скоро станет тесной. Гинка и Кында выйдут замуж, да и Фоко когда-нибудь женится. Поэтому я думаю пристроить к ней еще одну комнату... А вообще плохо мы живем, отец... Покружил я по свету, во Фракии и в Македонии повоевал, в Белградчике наслужился, и в Софии належался в больнице — словом, всего нагладелся. Люди в городах живут по-человечески, а мы тут как скотина. Душим друг друга в этой тесноте. Вот получу работу в кооперации или в общине, начну зарабатывать, прикупим еще земли, поправим свои дела.

— Верно говоришь, это ты хорошо, умно придумал! —

воскликнул дедушка. — Земля никогда не подведет. Государства рушатся, люди гибнут, а земля остается... Хорошо ты придумал. А комнату мы начнем строить завтра... Ведь и я когда-то думал, как ты... Освободили нас русские, взяли меня в солдаты — и в Софию, в гвардейский артиллерийский полк. Эх, времена-то какие были!

Тут вошла бабушка с миской бобов и кастрюлей и села у окна. Взяла горсть бобов, сдула с них пыль и шелуху и бросила в кастрюлю.

Дедушка продолжал:

— Вот уж радость была — свою державу получить, своего князя! Стою на посту перед дворцом в той моей красной форме с белыми галунами, с тем моим орлиным пером на шапке, статный, молодой, сильный! А вот он и князь в коляске! Выйдет из коляски, я вытянусь в струнку, отдам честь, а он мне улыбается. Красив был, очень красив! Высокий, стройный — в точности как я.

— Ну да, как же! — вмешалась неожиданно бабушка. — Посмотришь со стороны — не узнаешь, кто князь, а кто Милчо Крystов из Расова!

Меня всегда удивляло, как эта кроткая женщина, такая добрая со всеми, любила поддразнивать дедушку. Словно она хотела отомстить ему за что-то.

Вот и сейчас — только он начал таять от умиления перед своими воспоминаниями, как она тут же вылила на него ушат холодной воды. Дедушка замолчал, глянул на нее очень сердито, словно готов был утопить ее в ложке воды, но сказал только:

— На тебя и замахнуться страшно — упадешь... Ладно, бог тебя накажет!

И снова повернулся к отцу:

— Ну, видал такую? Люди предлагали мне остаться на службе, офицером хотели сделать. Сообщил я тогда отцу — так и так, мол, приезжайте с моей молодухой посмотреть на меня. Писал-то я ему, а сам хотел, чтоб она поглядела, какой жизнью люди живут, привыкла к тому, что офицершей станет... Отправились они за полночь. Ну, пошли пешком через Петрохан, заночевали в Клисуре, а на другой день к вечеру глядь — уже здесь. Сто километров отмахали, — и хоть бы что! Крепкий был народ. Не то что нынешняя молодежь — гниль одна. Ну ладно. Встретил я их; пойдем, говорю, погуляем по Софии. А на улицах — народ, фонари светят, иголку потеряешь — найдешь. Ну, надела она шелковое платье с бахромой, красный сарафан со складками — двадцать локтей материи! Люди гла-

зеют на нас, как на цыган с медведем, — у тех шопов¹ нет такого пестрого тряпья, как у нас. Я и говорю ей тогда: «Возьмем в селе то да се — и сюда. Ты, говорю, будешь дома за детьми смотреть, я — солдат учить. А она с первого слова уперлась как ослица на мосту, — не хочу, и все тут. Такая упрямая была — вот и прошла судьба мимо... Ну, вернулся я в село, старостой стал, а она все равно белого дня в жизни не видела... Да, ты, Нистор, хорошо придумал. Может, еще и дом новый выстроим.

На следующий день начали выносить вещи из верхней комнаты. Для меня это был настоящий праздник! Чего только я не нашел там для своих игр! Дядя замазывал стены, мама их белила, потом вымазала пол свежим, растворенным в воде коровьим навозом. Комната заблестела, запахло свежестью и чистотой. Дядя и дедушка сколотили новую кровать, а для нас, детей, в другом углу поставили старую, ивовую. Мама застелила кровать сеном, а поверх сена — шерстяными одеялами. Теперь это будет моя комната, она — самая красивая, и я горжусь ею. Особенно столом, который отец заказал столяру. И немецкие стулья он купил в городе. Они были сделаны из круглого букового дерева, высокие, а спинки еще выше, так что когда сядешь — чувствуешь, что тебе удобно, и становишься еще больше и сильнее. Отец велел маме сшить занавески на окна из шелковой материи. Такие занавески были во всех городских домах. «Вечером, когда зажжем лампу, нас не будет видно с улицы», — сказал он.

Жизнь наша изменилась. Отец вскоре стал кассиром в кооперации. Каких только товаров не было теперь в магазине: соль, газ, английский хлопок, лен, пестрые ситцы, ленты, кружева. Продавался и колотый сахар, но его покупали только больным — для чая. За одно яйцо — пять кусочков. Мужчины уже не ходили теперь в город за солью и газом, женщины ткали меньше, а если и ткали, то из английского хлопка. Девушки начали шить платья из ситца. И замужние женщины тоже стали шить платья из ситца и стали красивыми, как учительницы. Одна девушка даже отрезала себе длинные косы и сделала прическу точь-в-точь как у учительниц. Женщины осуждали ее некоторое время, а потом и другие девушки поотрезали себе косы. Новое брало верх, побеждали сильные, старое должно было отступить.

Каждое утро женщины выгоняли телят и коров на площадь и отдавали их под начало сельскому пастуху Петко Пелинкину,

¹ Шопы — крестьяне, населяющие западную Болгарию, главным образом окрестности Софии.

а свиней забирал Чирко, ожидавший их, поигрывая кнутом. Чирко был низкорослый и плотный цыган с длинными, русыми славянскими усами, так что люди принимали его за болгарина. Однажды утром свиней выгоняла тетя Кында. Она принесла весть, что ограблена кооперативная касса. Услышав это, отец привязал протез, оделся и заспешил к кооперации. Протез делал его шаг широким, он почти бежал, размахивая палкой. Скоро он вернулся успокоенный: по счастью, он не оставил вчера в железном ящике кассовую книгу, и по ней можно было определить теперь, сколько денег оставалось в кассе. Через некоторое время к нам пришел Горан Безумный и сказал, что видел ящик за селом, недалеко от цыганского кладбища, разбитый и пустой.

Село наше приютилось в углу между двумя речушками, и только дом Горана одиноко торчал по ту сторону у холма. Но не за это его прозвали Безумным. Да и никакой он не был безумный. Он был просто увлеченный. А увлекался дядя Горан кладонскательством. Он все время хвастал, что нашел таинственные карты, оставшиеся от беев и султанов, в которых точно указано, где лежат давно зарытые сокровища, — и несмотря на это, оставался все таким же бедным. Но чем больше над ним смеялись, тем сильнее разгоралась его страсть к поискам сокровищ. И вдруг однажды он объявил, что отказывается от всяких поисков. Он не сказал почему, но злые языки раскрыли его тайну.

Дядя Горан нашел новую карту. На ней было ясно отмечено, где Месут-ага зарыл свое золото, когда, преследуемый русскими войсками, бежал в Турцию: у Финовой дубовой роши. У Месут аги было в селе имение, Финова роша находилась на его земле, так что сомнений быть не могло. Однажды ночью дядя Горан взял лопату, дошел до шести гигантских дубов Финовой роши, отмерил десять шагов от среднего дуба к югу, потом десять шагов к востоку и сказал: «Здесь!» Сказал мысленно, про себя, потому что, когда ищешь клад, нельзя говорить вслух: проговоришься — сокровище зазвенит, укроется где-нибудь поглубже, и ищи-свищи его. Копал, копал дядя Горан — вырыл яму до пояса. Копал, копал — до груди дошел. А сокровища и следа нет. И вдруг слышит шум над головой. Выпрямился — видит: на посветлевшем небе — ослиные уши. «Наконец-то!» — обрадовался дядя Горан. Потому что у сокровищ странные привычки. Иногда они превращаются в животных, и если успеешь поймать животное до первых петухов, оно снова станет золотом. Схватил дядя Горан осла за передние ноги и стал тащить в яму. Он тащит осла в яму, осел тащит его назад. Но

тут под передними ногами осла осыпалась земля, и он упал прямо под ноги счастливому искателю сокровищ. Сел Горан верхом на осла и стал слушать, когда запоют первые петухи. Ждал, ждал — вот и первый петух объявился. А осел пыхтит, стонет, хочет повернуться, но яма тесна. Пропели уже все петухи, а осел лежит себе цел-целехонек. Когда уже совсем рассвело, дядя Горан узнал его — это был куций осел Стояна Саблева! Вот такие дела. Так и отказался дядя Горан раз и навсегда от кладоискательства. Но имя к нему прилипло...

Мы, дети, жили тогда в мире не только реальном, но и в фантастическом. Дни были как дни, но по ночам творилось нечто ужасное — появлялись и лесные русалки, и вампиры, и болезни в виде страшных женщин, и всякие злые духи, из турецкого колодца выходил красный конь, из Велева колодца — борзая, а возле нашего колодца сидела девушка и прядла на золотой прялке. Девушка была очень красивая, и прялка у нее золотая, а все же это был настоящий злой дух. И все это не пустые слухи: сколько людей видели и красного коня, и борзую! Дедушка лично видел девушку с золотой прялкой. Вечером я не смел проходить мимо колодца. Но однажды я заигрался с ребятами и не успел вовремя вернуться домой. Приближаясь к колодцу, я весь похолодел от страха. Но другого пути не было, и я помчался, зажмурив глаза. И когда я открыл их, чтобы толкнуть дверь, передо мной промелькнуло что-то длинное и белое. Не помню, как я добрался до дому. Мама, увидев, что я белый как полотно, дала мне хлебнуть воды, отец стал меня расспрашивать, что случилось. Я рассказал ему. Он улыбнулся:

— Йошова кошка белая, это она была. Пробежала мимо, ты и увидел что-то длинное.

Отец говорит, а я не знаю, кому верить — ему или дедушке, который лично видел девушку с золотой прялкой. А видел он еще и вампира! Однажды ночью, во сне, он почувствовал сверху что-то тяжелое. Проснулся, пошевелился — а оно сидит. Глянул — а это вампир! Хорошо, что догадался перекреститься, — того и след простыл...

Время шло, я подрастал, а случай с Йошовой кошкой и ослом Стояна Саблева учили меня больше верить отцу...

Наше семейство увеличилось. Минувшим летом мы с Шанко получили сестричку. Окрестили ее Верой. А где-то на фронте мужчины еще воевали и гибли, и реквизиционная комиссия все так же забирала у людей еду и скот. Прошел слух, что солдатам надоело воевать голодными, голыми и босыми и что они начали бунтовать. Дедушка заключил из этого, что государство обречено на гибель, что Радославов погубит Болгарию. Радос-

славов был первым помощником царя, и им обоим, по мнению дедушки, нужна была война. «Мы — крестьяне, — говорил дедушка, — мы знай себе пашем да жнем, вся забота наша — чтобы дети росли у нас хорошими. Мы злые лишь, когда нам делают зло. А для чего солдатам, которые пришли аж из Франции или Англии, или арапам из Азии и Африки причинять нам зло? Выходит, что и их заставляют драться не за себя, а за других, за царя или бог знает за кого».

Однажды отец пришел с работы, как обычно, к обеду. Пока бабушка собирала на стол, отец сказал дедушке:

— Все войска на фронте взбунтовались. Целые полки идут в Софию требовать отчета от царя.

— Конец света, — сказал дедушка. — Если и войска поднялись, порядка не будет. Что мы думали?! Освободят нас русские, устроим свое государство, свой порядок установим. А богачи взяли и позвали царя из Германии. Да разве будет чужой думать о нас?

— Фердинанд хитер, — ответил отец. — Выпустил Стамболийского¹ из тюрьмы и сказал ему: «Ты говоришь, что ты вождь крестьян. Вот и выйди навстречу полкам, уговори их вернуться в окопы и продолжать войну». Стамболийский сделал вид, что согласен, взял товарища своего, Райко Даскалова, и они пошли в Кюстендил. Там один подпоручик арестовал офицеров Генерального штаба, а солдаты кричали: «Не хотим царя, не хотим, чтобы нами управляли богатеи!» Но большинство бунтовщиков собрались в Радомире. Райко Даскалов явился туда и объявил, что царь свергнут, что с этого дня Болгария — республика. И войска двинулись на Софию — больше шести тысяч, — чтоб свергнуть правительство.

— И свергнут! — воскликнул дедушка. — Раз не слушало народ — значит, свергнут! И поставят наших!

— «Свергнут, поставят наших»... Это не так легко, царь все еще силен.

А через два-три дня отец опять принес новость:

— Под Софией идут сильные бои. Царь послал навстречу бунтующим солдатам свои войска. Они стояли в Софии — одетые, сытые, хорошо вооруженные, с артиллерией.

¹ Стамболийский Александр (1879—1923) — политический деятель, лидер Земледельческого народного союза — крестьянской политической партии. В 1920—1923 гг. — глава правительства. Его правительство было свергнуто в результате фашистского переворота 9 июня 1923 г., а сам Стамболийский убит.

— Э, против артиллерии ружья и гроша ломаного не стоят! — вздохнул дедушка. — Разобьют их...

Так и случилось. Царские войска дождались восставших у Княжева и Бояна, завязался тяжелый бой, но, как и сказал дедушка, против орудий ружья были бессильны...

Пока дедушка и отец разговаривали, я слушал их и думал. Зачем царь посылал войска убивать чужих солдат? И зачем убивал своих? Войны — это что-то очень плохое, это я уже понимал. На войне стреляют в людей, стреляют настоящими пулями и пулями «дум-дум», как в отца. А зачем люди убивают друг друга? Убивают взрослые, — отвечал я сам себе, — потому что это взрослые придумали войну, их дети не могут такого придумать. Я вот хоть и стреляю по англо-французам и ястребам, но ведь понарошку... Неужели, когда я вырасту, я буду стрелять по-настоящему?! Ну уж нет, не такой я дурак! Зачем оставлять детей сиротами? Нет, когда я стану большой, я никогда не буду убивать людей!..

Так искренне думал я тогда. А когда стал взрослым, я стрелял в людей. Из орудия. Снаряды падали далеко, и я не мог видеть, убивало людей или нет, но я старался, чтобы их убивало. Иначе они убьют меня и моих товарищей. И я тогда уже не мог сказать: «Когда я стану маленьким, никогда не буду убивать людей». Но сейчас, когда я пишу эти строки, в нашем подъезде, в нашем доме, в нашем городе, в нашей стране и еще во многих странах живут миллионы мальчишек. Вот кто меня сменит. И я знаю, что все они клянутся: «Когда мы станем большими, мы никогда не будем стрелять в других людей»... А если те, другие, первыми начнут стрелять в них? Сумеют ли тогда мальчишки выполнить свою клятву? Или повторяют то, что делал я? А ведь те, другие, есть еще на земле. Что же нам делать с ними?

Настало лето 1919 года. Шла жатва. Верочка заболела. На ее тельце появились плотные красные прыщики. Девочка металась в сильном жару, плакала или забывалась во сне и жалобно стонала. Бабка Тотовица ворожила ей, гасила в воде раскаленные угли и умывала этой водой ее лицо, но ничто не помогало. А пшеница в поле переставала и осыпалась. Мама уже не думала о пшенице, она целые дни ломала руки у постели больной дочки, бессильная помочь ей. Тогда бабушка сказала:

— Ей не поможешь плачем, Ценка. Все мы под богом ходим. Но грешно оставить хлеб в поле неубранным. Что мы тогда будем есть? Я останусь с ребенком, и Фоко останется; если надо будет, позовем Тотовицу, а ты иди в поле.

У мамы не было сил оторваться от постели. Я недоумевал: то, чего хотела бабушка, мне казалось нелепым. Пшеница

важнее Веры! Тут человек умирает, а пшеницу ведь можно посеять снова! С каким сердцем мама будет жать, если она не знает, что с ее ребенком? Нет, думал я, если бы я был на месте бабушки, я сказал бы, что самое важное сейчас — спасти Верочку! А она была такой милой девочкой! Когда она научилась сидеть, я развлекал ее, делал разные гримасы, чтобы ее рассмешить. Потому что никто не смеялся так, как Верочка. Полненькая, розовая, улыбаясь, она поднимала головку, зажмурилась, как бы наслаждаясь собственным смехом. И тогда мне хотелось обнять ее и целовать, целовать! Нет, бабушка была не права, и я ждал, что скажет мама. А мама рассуждала вслух:

— Не знаю... Надо бы к доктору ее свозить. В городе, говорят, доктор Андрейчин открыл больницу. Нистор узнавал. Но у нас и за два дня заплатить денег не хватит... Такова, видно, судьба наша горемычная. Ну, да бог защитит...

А на другое утро мама разбудила меня рано, перенесла сонного в телегу и бросила туда мои чулки и цервули. Она всегда так делала. Досыпал я в телеге и уже в поле, когда показывалось солнце, натягивал чулки, привязывал цервули и брал в руки серп. Но на этот раз — наверно, из-за болезни Верочки — я проснулся еще на улице и отобрал остен у мамы. Все-таки в телеге рядом с мамой и отцовскими сестрами я был единственный мужчина! Небо уже посветлело, когда мы достигли Кыркожабской балки. Я отвел волов с дороги, как это делал дедушка, мама помогла мне выпрячь их из телеги, и я повел их на водопой. Волы вошли передними ногами в воду и замутили ее. Они вытянули морды, чтобы достать до чистой воды и стали жадно пить. Я в это время насвистывал медленно и протяжно, как делает дедушка, пока волы пьют, чтобы они не торопились. Когда мы поднялись по крутизне в поле, небо на востоке стало красным, как жар в печке. А на этом фоне вырисовывался холм Доброглед с двумя акациями на вершине. И холм, и акации были словно вырезаны из черной бумаги и приклеены к небу. Это выглядело очень красиво. Скоро показалось солнце — крупное, красное и сплющенное. Интересно, почему оно во время восхода сплющенное? Я ждал, пока оно выйдет целиком и станет круглым. Но когда оно поднялось высоко, на него легло темное облако и скрыло его. Позади облака со всех сторон появились белые острые копыта. Они были похожи на бесцветный павлиний хвост. Такой красоты я еще не видел. Я забирался на Доброглед — оттуда можно поглядеть на край света. А большие ребята, которые влезали на акации, видели еще и дальше.

В поле мама отмерила всем полоски, и мы стали жать серпами. Я не умел вязать снопы, поэтому подкладывал свои сжатые

пучки колосьев маме. И был горд тем, что снопов у мамы получилось больше, чем у всех. И это благодаря мне!

Мама жала и по временам глубоко вздыхала, повторяя: «Что там с Верочкой?» И снова взмахивала серпом.

Часам к десяти она выпрямилась и куда-то посмотрела. Глянул в ту сторону и я. Из-за стога вышел мужчина. Он нагнулся, взял свою кепку и отряхнул ее от соломы. Похоже было, что он спал в стогу. Мама побледнела и оглянулась.

— И живой души кругом нет! Он же убьет нас, этот Макар! Нагнитесь — и бегом к телеге! — И сама пригнулась до земли и пошла; я — за ней, тетя Кында и тетя Гинка — тоже.

Я знал Макара Беломуйского. Увидев его на улице, я убежал от него. На фронте его зарыло в землю снарядом. Отрыли его после боя, потом долго лечили, но в мозгу у него что-то сдвинулось с места. Иногда он был тихим и сонным, иногда, без видимой причины, приходил в бешенство и набрасывался на людей. Обычно он бродил по улицам и выпрашивал у мужчин папиросы. А когда ему подносили коробку, он смотрел на папиросы и говорил: «А тебе еще останется?.. Нет, нет, не надо!» Но мужчины подавали ему папиросу, и он жадно ее хватал. Жертва войны... Женщины его жалели, но боялись. Однажды был такой случай. Староста стоял возле общины. Макар подошел к нему и, не сказав ни слова, начал бить его палкой. Нашел ли он для этого какую-то причину, кто знает... Во всяком случае все опасались Макара — не угадаешь ведь, когда его охватит безумие.

Мы еще не добрались до телеги, как раздался громкий крик:

— Стреляйте! Почему не стреляете? Что делает наша артиллерия? Убили нас! Стреляйте, а то я вас убью! Всех вас убью! И брата своего убью! Денег на папиросы мне не дает, поле мое отобрал! Дурак я был, дурак я был — свое найти хотел! Убью я его, убью!..

Размахивая длинной палкой, Макар направлялся к нам. Мама, следившая за ним одним глазом, растерялась. Она решила, что лучше, если мы будем жать, словно ничего не замечая, иначе еще больше разозлим его. Мы начали жать. А Макар шел к нам большими шагами, все размахивая палкой. Я не мог оторвать взгляда от него. Вдруг я заметил, что он остановился, как будто заколебался отчего-то, и снова заспешил к нам. Я выпустил из рук серп. Сейчас он убьет нас!..

А Макар остановился и тихо поздоровался:

— Бог в помощь, Ценка. Думал попросить папиросу, да гляжу — у вас одни женщины... — Глаза его были скорее печальными, чем свирепыми. — Жнете, да? И наши жнут, только тот,

мой брат, захватит все и ничего мне не оставит. Потому я тут — стог сторожу.

И печальные его глаза вдруг стали злыми, налились кровью. Макар замахал палкой и закричал:

— Но я его все равно убью! Как заснет, так и убью!..

«Опять у него ум помрачился», — промелькнуло в моем мозгу.

В этот миг со стороны села показался дядя Фоко. Увидев его, мама осмелела и прикрикнула на Макара:

— Иди, Макар, не мешай, понял? А то видишь, — и она показала на дядю, — кто идет...

Но Макар уже пришел в себя. Очевидно, вся его ярость была направлена только на брата, и люди напрасно его боялись. Он не ушел, а дождался дядю и попросил у него папиросу. Дядя молча подал ему две папиросы. Макар закурил и медленно двинулся к своему стогу.

— Хорошо, что ты пришел, — обернулась мама к дяде. — Думали, пропадем!

Но дядя не поздоровался и не ответил. Мама первая все поняла:

— Да уж не... ребенок ли...

Дядя продолжал хмуро молчать, и его молчанием все было сказано. Он закурил и только тогда произнес:

— Плохо, сестра. Очень плохо. Мама сказала: «Иди позови Ценку. Пусть бросит все и идет. Но пока дойдем, вряд ли...

Мама опустила платок на глаза, дядя, ничего не спрашивая, пошел запрягать волов.

Когда мы добрались до дому, мама первая выпрыгнула из телеги и кинулась в комнату. Я побежал за ней. Верочка, вытянувшись, лежала на постели... В руках ее горела свеча. Щеки у нее были бледные, будто вылепленные из воска. Она лежала, словно только что уснула.

На следующий день ее похоронили рядом с Борисом, моим старшим братом.

5

И как мог я забыть про ту книгу в черном переплете! Я вытащил ее из маминого сундука для одежды, где она лежала, завернутая в платок, и испугался. Хрестоматию мы в школе прочли за год, сколько же лет уйдет у меня на эту книгу? Но, начав читать, я уже не мог от нее оторваться. Я приходил из школы, делал уроки и садился с книгой у окна. Мама ругалась —



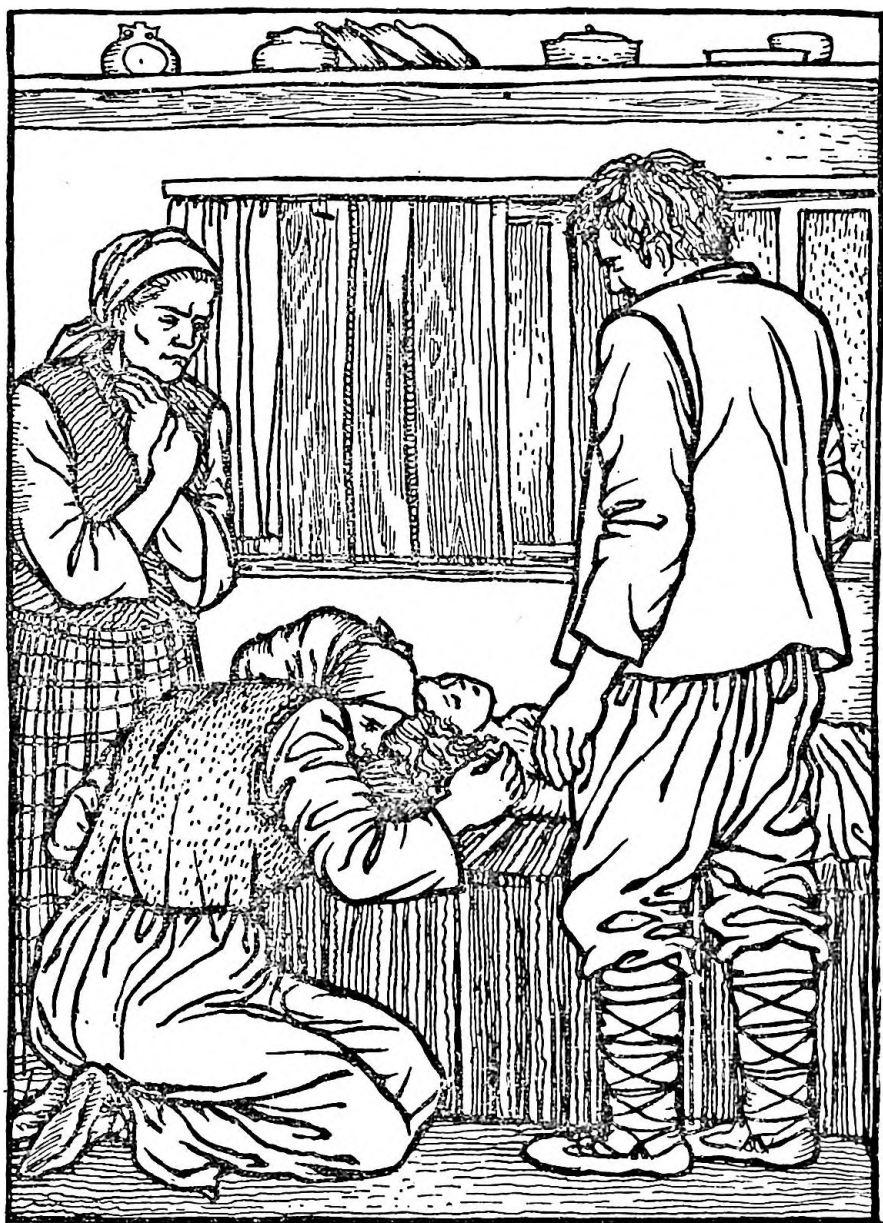
нечего, мол, портить глаза этими толстыми книгами, лучше бы занялся каким-нибудь делом. Она говорила так, потому что не знала, какое это важное дело — чтение, но я прощал ее: она ведь была неграмотна. Вот отец — тот не ругал меня. Он объяснял мне каждое непонятное слово. Дедушку же я спрашивал о восстаниях — он жил при турках и помнил, когда Христо Ботев¹ переправился через Дунай у Козлодуй¹. Так, за несколько месяцев, я прочел и «Записки» Захария Стоянова...

Я еще не все понимал до конца, еще не привык разбираться в своих мыслях, да если и привык бы, трудно понять то, чего еще толком не знаешь. А в сущности, меня все больше покоряла сила слова. «Нехитрое дело, — думал я, — пахать, копать, жать, а вот напиши попробуй книгу!» И уже понимал, что есть где-то люди поученнее дедушки и отца. Вроде тех, чьи портреты помещены в хрестоматиях: Любена Каравелова², Христо Ботева, Ивана Вазова. Трудно мне было тогда представить их себе живыми людьми, трудно было представить, что и они едят, спят, шутят, как и все остальные. Но отец говорил мне, что Иван Вазов жив, и у него есть дом в Софии, и его можно там увидеть! Неужели же Иван Вазов ходит по улицам, как все люди?! Писатели все больше поднимались в моем детском сознании на высоту, для меня недостижимую и оттого необыкновенно заманчивую. Они незаметно становились для меня примером для подражания, писательский труд превращался в идеал, неясный, как все только что родившиеся идеалы. Но для осуществления этого идеала у меня еще не было слов, лишь много позже пришла ко мне вера, что я найду такие слова. Но вера, конечно, не заменит ни знания, ни умения. Что делать! И я, уже взрослый, до сих пор нишу те слова и все еще не могу сказать, что нашел их...

Я очень удивился, когда узнал, что Захарий Стоянов в детстве пас овец. «Может ли овчар стать писателем?» — спрашивал себя и не знал, что на это ответить. Но Захарий Стоянов каждый день уверял меня, что это возможно. И тогда я спрашивал: «Как?» И сам себе отвечал: «Наши овчары не могут стать писателями, потому что неграмотны. А Захарий Стоянов прочел, наверно, тысячу книг!» Всего значения книги я еще не мог себе представить, но уже чувствовал ее необычайную силу. Вот было, например, Апрельское восстание. Были Левский, Бенковский,

¹ Христо Ботев (1848—1876) — революционер, поэт, публицист, один из руководителей восстания против турок в апреле 1876 г. Убит в бою с турками близ Врацы 1 июня 1876 г.

² Любен Каравелов (1837—1879) — выдающийся болгарский писатель и политический деятель.



Каблешков¹... а как бы люди узнали о них, если бы не книги? И книга становилась для меня великим чудом.

Да, книга была чудом. Но вот я закончил четвертый класс, а что дальше? В нашем селе не было прогимназии. Значит, так я и останусь неучем?... Эта мысль не давала мне покоя. Каждые каникулы я становился погонщиком волов, жнецом, но я знал, что придет осень, и я снова буду школьником, а сейчас?

Прошел июль, наступил август... Я был в полном отчаянии. И вот однажды вечером, а может быть, это была уже ночь, я услышал разговор. Я лежал в постели с открытыми глазами и все думал, как уловить момент и поговорить с отцом. Шанко возле меня давно уже спал. Мама и отец пошептались о чем-то на своей кровати, но и они скоро умолкли. Ночь была темной и тихой, тишина звенела в моих ушах, как далекая, едва слышная струна. А может быть, это были мои мысли? Нет, завтра надо непременно поговорить с отцом. Только как поговоришь, когда я все еще роблю перед ним? Вот с мамой можно говорить о чем угодно, но мама не хочет, чтобы я учился дальше... Нет, мама с отцом тоже не спят. Отец покашлял в ладонь, чтобы не разбудить нас с Шанко, и зашептал:

— Слышал я, на будущий год в селе откроют прогимназию. Жалко, что не сейчас. Но мне не хочется, чтобы Ванчо потерял целый год. Кое-чему он, конечно, научился, но зачем терять год, когда учение у него ладится? Я решил отдать его учиться в Медковец.

Я навострил уши. Настал час, когда решается моя судьба. Я старался не пропустить ни единого слова. Мама ответила:

— И незачем. Ему и четырех лет хватит, умеет подписывать-ся, и ладно! Он же у нас самый взрослый, через год-два уже хозяин в доме. Ты ведь инвалид, полчеловека, да и не тянет тебя к крестьянской работе. Что ж, так я и буду всю жизнь за мужика в поле?

Ну вот, теперь мама все испортит. Сама неграмотная, а воображает, что понимает больше отца! Это потому, что жила все время одна, привыкла к тому, что она приказывает, а все ее

¹ Апрельское восстание — восстание болгарского народа против турецких поработителей в апреле 1876 г.

Левский Васил (1837—1873) — выдающийся деятель болгарского революционно-освободительного движения против турецкого ига. Схвачен турками и повешен в Софии. Бенковский Георгий (1842—1876). Каблешков Тодор (1851—1876) — герои Апрельского восстания. С выстрела Каблешкова в Копривштицах началось Апрельское восстание.

слушаются. Я заметил, что и отец ее слушается. Вдруг он послушается и сейчас? Что тогда будет?

— За поле ты не беспокойся, — продолжал отец. — Найдем где-нибудь работника пахать и косить.

— Ты наймешь! — упорствовала мама. — Ты уже и землицы прикупил, и еще купить хочешь, а обрабатывать ее — опять я? И работник твой... где ты еще его найдешь?! И не снимет он с меня никаких забот. Сил моих больше нет...

Отец замолчал, обдумывая, наверно, свой ответ. А мама была права, ей приходилось тяжелее всех. Сестры отца ткали себе приданое, в поле делали лишь то, что им велят, а мама должна была и дома, и в поле работать за всех. Вернувшись с поля, она часто стирала или готовила до полуночи. Жалко мне было ее, но как отказаться от учения? Что же ей ответит отец?

— Что бы там ни было, — сказал он твердо, — Ванчо будет учиться. Я не хочу, чтобы он жил слепым. Ты же знаешь, я дважды убегал в Софию учиться, и ничего из этого не вышло. Вся жизнь я из-за этого страдаю. Сейчас я готовлюсь к экзаменам за прогимназию, получу свидетельство, а что с того? Мне уже поздно учиться дальше. Но Ванчо... На днях поеду в Медковец искать ему квартиру.

Мама вздохнула, но не ответила. Значит, все в порядке! Я забыл о маминых заботах, и это, может быть, было с моей стороны эгоистично, — только спустя годы я смог оценить мамину жертву. Но тогда мне казалось, что больше я люблю отца. И я стал думать о нем. От бабушки я слышал, что он убегал учиться, и вот оказалось, что это правда...

Закончив четыре класса, отец хотел учиться дальше в городе. Дедушка не пускал его, но после долгих слез и уговоров записал его в Ломскую прогимназию. А на следующий год передумал и забрал его оттуда. Отец ходил в поле, работал, но страданиям его не было конца. И однажды он решил: «Убегу!» Спрятал метрику и другие свои документы, сунул в карман бабушкино монисто с серебряными пятерками и ночью исчез. В Софии училищ сколько угодно. Не в одно, так в другое примут. Можно, например, печатником стать. К полудню отец добрался до города Фердинанда¹. Проголодался, нашел постоянный двор. Хозяин накормил его, удивился: совсем ребенок, а один пустился в путь, — и стал расспрашивать. Слово за слово — все понял. Да, на отцову беду, он дедушке еще и приятелем был. Поел отец и взялся за свой мешок.

¹ Сейчас — Михайловград.

— Слушай, малец,— остановил его хозяин,— поздно уже, где ты там ночью в горах плутать будешь. Ночуй у меня, денег я с тебя не возьму, а рано утром пойдешь. В Гинци снова заночуешь, а там и до Софии рукой подать.

Послушался отец: уж очень он был доволен, что есть на свете такие добрые люди. А «добрый» человек тут же отправил телеграмму дедушке...

Утром отец вскочил со стола, на котором всю ночь вертелся, так и не уснув, и собрался в путь. А хозяин улыбается:

— Ну и повезло тебе, малец. Дело у меня в Софии нашлось. Подожди, коней покормлю, к обеду и тронемся.

К обеду на постоялом дворе загремела телега, и на пороге появился дедушка. Так и закончилось отцово учение...

Может быть, кому-то это покажется неправдоподобным: дедушка четыре года учился в церковной школе, гордился тем, что двадцать лет был на селе старостой, как самый образованный из всех мужчин,— а вот сына учить не захотел. Дедушка в свое время наивно верил в возрождение своего отечества после избавления от турок. Но его вера была уже давным-давно обманута. Освобождение, по его мнению, не принесло ничего хорошего простому народу. Бедный так и остался бедным, а то и еще беднее стал. В то время крестьянская, неграмотная Болгария, давшая, наконец, волю своим мечтам о прогрессе, просвещении, культуре, создавала свою собственную интеллигенцию. Но эта интеллигенция, по мнению дедушки, не видела со своей колокольни простого народа, а вскоре и совсем забыла о нем. Даже стала стыдиться его. И во многом была виновна в тяжелой участи своего народа. Вот почему дедушка был «на ножках» с «учеными», которые забыли свой народ, и считал, что все войны и беды идут от них, от ученых. И он их возненавидел. Возненавидел все партии, которые дорывались до власти, чтобы притеснять народ. Ненавидел он и старост, и сборщиков налогов, критиковал их и все вспоминал, как сам управлял в свое время. Он боялся, что отец, став ученым, оторвется от народа, от своих корней. Вот почему он хотел оставить его при себе...

И дедушка решил раз и навсегда отказать отцу в его революционных намерениях учиться. «Женится — смирится»,— говорил он. И однажды он вспомнил о своем приятеле из Сталийской слободы Рангеле Вакове. Они познакомились когда-то в городе на митинге против правительства Стамболова¹. Встре-

¹ Стамболов Стефан (1854—1895) — политический деятель, в последние годы жизни — глава реакционного правительства, жестоко преследовал сторонников сотрудничества с Россией.

тились, поговорили, сошлись во взглядах. У дедушки Рангела было много дочерей. Одну из них он согласился отдать дедушке в снохи, и они договорились познакомить ее с отцом. Девушка поглядела на жениха и заартачилась — не пойдет она за шестнадцатилетнего ребенка. Но дедушка так этого дела не оставил. С ведома дедушки Рангела собрал он в воскресенье всех сторожей общины — тогда он был еще старостой, — посадил их на две телеги и привез в Сталийскую слободу. Слезли на площади. Дедушка показал им невесту, ее схватили, бросили в телегу, пальнули на всякий случай, чтоб никто не вздумал их преследовать, и хлестнули коней. Делать было нечего, девушка смирилась и стала женой моего отца...

Но и отец мой, подобно дедушке, не любил, как говорится, оставлять осла посреди дороги. Миновала свадьба. Бабушка повесила на шею маме монисто с серебряными пятерками, свадебные гости тоже одарили маму новенькими пятерками. И в отцовской душе зародился новый план. С такими-то деньгами можно учиться столько лет! Шли дни и недели, а план вырисовывался все отчетливее. И вот однажды отец собрал все серебряные монеты, взял свои документы и снова бежал в Софию. На этот раз он решил добираться через Врацу. Дойдя до Криводола, он переночевал в одном постоялом дворе, а утром одумался: что же станется с молодой женой? Справедливо ли, что он оставил ее ни женой, ни вдовой? Она-то в чем виновата? Думал, думал и с повинной головой вернулся в село...

Такова отцова история. Моя же судьба устраивается куда легче. Отец сходил в Медковец и нашел мне квартиру. Я очень обрадовался, что буду жить не один. Мы будем жить с Крысто Павловым, моим товарищем по школе. Его отец был местным руководителем Земледельческого союза и старостой, а мой — только что стал секретарем и сборщиком налогов в общине.

Пришел сентябрь. Дедушка нагрузил на телегу мешок с мукой, бобы, картофель, перец, лук и запряг волов. Старые буйволы были проданы, и дедушка купил двух молодых волов. Он больше любил волов. Он называл их ангелами, потому что волы никому не делали зла, да еще работали, чтобы кормить нас. Мама, бледная, стояла в стороне. Когда дедушка повел волов к воротам, она подошла обнять меня, но, испугавшись, что расплчется, повернулась и побежала к дому. Она боялась, что учение навсегда отрежет меня от нее, что меня поглотит город, что, выучившись, я забуду ее, а кто тогда позаботится о ней в старости? И когда я теперь об этом думаю, я понимаю, что предчувствия мамы сбылись. Меня действительно поглотил город, и ей лишь оставалось ждать моих писем и стареть без ме-

ня... Но тогда у меня не было таких мыслей. Тогда я, переполненный радостью, предвкушал исполнение своих желаний, и этого мне было достаточно. Дедушка поглядел вслед маме и философски заключил: «Женщины... Вечно плачут, когда надо и когда не надо».

Мы проехали мимо дома Павловых, взяли Крысто, погрузили и там несколько мешков, и телега выехала на медковецкую дорогу. Дедушка покрикивал на волов, мы сидели позади него и молчали. Крысто был светловолос, ростом пониже меня, но покрепче. Он не очень хотел учиться и собирался сбежать из Медковца. Такова жизнь: один убегает из дому, чтобы учиться, другой бежит от учения. Мне тоже было как-то не по себе. Я то утешал себя, что Медковец не так уж и далеко, в субботу я смогу бывать дома, то тревожился, как буду жить в чужом доме, с незнакомыми людьми, в незнакомом селе.

Когда мы достигли медковецкого колодца, горло у меня перехватило. Крайние дома села уже едва виднелись. Все, что до сих пор было частью меня, отдалялось, уменьшалось и вот уж совсем исчезло чуть ли не навсегда.

Дедушка подгонял остеном молодых волов, телега тарыхтела по ухабистой дороге. Волы вели себя как дети. Белый, который был покрупнее и постарше — в поле его ставили в ярмо справа, — толкал ярмо в сторону Серого. Серый отвечал ему тем же, и начиналась борьба. Дедушка ругал их, колол остеном, и они успокаивались. А то увидит Серый сочный стебель у дороги и так и норовит его ухватить, при этом он тащит за собой и Белого, и вся телега начинает сползать в канаву. Тогда дедушка бьет его по спине, и телега снова вылезает на дорогу. «Дети», — говорит дедушка, думая о волах, и грозит им: «Вот пушу вас завтра в борозду и высунете языки, как собаки!»

Мы с Крысто сидели, словно испуганные воробы, подскакивали на кочках и не смели открыть рот, чтобы, того гляди, не брызнули слезы. Проехали по деревянному мосту через речушку, заглохшую среди камыша и тростника. Листья прибрежных раkit покраснели, пришла осень. Скоро мы въехали в медковецкую рощу. Лес был редкий, дубовый, на свежей луговой отаве¹ паслись волы. Ребята играли в солдатики, в чехарду, возились, кричали. Им-то что — они будут учиться в своем селе и прибегать после обеда к себе домой. А я? Дедушка обернулся к нам, оглядел нас внимательно, словно забыл, кто сидит позади него, и улыбнулся в усы:

¹ Отава — трава, отросшая после укоса.



— Ну что головы повесили? Учиться едете, не на виселицу! Теперь учителя вас балуют и пальцем небось не тронут! А спросили бы, как в мое время было. Собрал нас учитель Камен в келье, сел по-турецки на рогожку, сам портняжит, а мы читаем или пишем на пинакидах.

— Это что такое... пинакида? — испуганно спросил меня Крысто. Его дедушка — неграмотный, и Крысто не знает, что такое пинакида.

Я тихонечко объяснил ему: пинакида — это доска, покрытая растопленным воском. Ученики пишут на ней, потом соскабливают воск, снова намазывают и опять пишут. Дедушка продолжал:

— Да, что я хотел вам сказать? Совсем запомнил. А! Ну значит, некоторые из нас дрались. Было-то нам по пятнадцать-шестнадцать. Подеремся, а учитель Камен глянет поверх очков и скажет спокойно: «Фалага. Десять розог». Очки его все время спадали: оправа у них была сломана, скреплена воском и привязана к ушам нитками. Да, значит, говорит: «Фалага». Фалага — это приспособление такое для побоев. Свяжут тебе руки и ноги, как кобылице, двое берут тебя на плечи, и ты висишь, как заре-

занная свинья. А двое здоровенных парней хлещут тебя розгами по мягкому месту: раз, два, три... десять раз. Жестокое дело... Но терпели — для своей же пользы! А вам сейчас что..

Приближались первые дома Медковца. Справа была вода, очень много воды, — я никогда такого не видел. Дедушка поймал мой взгляд и объяснил:

— Трясина. Болото. Медковецкая почва такая — липкая, как клей. Дождь прольется — не впитывает...

Въехали в село. Вот это село! Дома на главной улице лепятся один к другому, как в городе. Мы пересекли маленькую площадь. От нее спускались к югу две улочки и по деревянным мосткам снова взбирались вверх. Под мостками пробивался почти высохший ручеек. И по ту его сторону, между двумя улочками, ютился домишко, огороженный дощатым забором. Перед этим домишком дедушка остановил волов.

— Вот и ваш новый дом, добрались-таки.

И, опершись одной рукой о спину Белого, а другой о борт телеги, дедушка ловко прыгнул на землю. Во дворе мы заметили женщину.

— Эй, молодка! — крикнул дедушка. — Отворяй ворота, гостей тебе привез!

Женщина выпрямилась, отерла руки о передник и подбежала к нам:

— Вы из Расова, да? А это мои школьники, да?

— Они самые, — ответил дедушка и ввел волов во двор. — А скажи теперь, куда харчи складывать?

Женщина указала дедушке не то погреб, не то амбар, и он сгрузил все мешки и сумки. Потом женщина привела нас в полутемную комнату и стала накрывать на стол. Она очень походила на мою маму, только была помоложе, и волосы у нее были светлые. И то, что она походила на маму, и то, что позвала к столу нас теми же словами, какие говорила мама — «Перекусим!» — меня немножко успокоило. Только мы начали есть, как дверь скрипнула, и на пороге появилась девочка. Тоже светловолосая, с коричневыми точечками вокруг носа, похожими на капельки йода. Девочка остановилась на пороге, готовая тут же убежать, но женщина крикнула ей:

— Входи, входи, Иванка! Гости у нас... Это моя дочка, — объяснила женщина дедушке и обернулась к нам с Кристо: — А вас как зовут?

Мы назвали и, значит, познакомились.

После обеда дедушка поговорил с женщиной — он называл ее хозяйкой, — оглядел нашу комнату и нашел ее красивой и удобной. Потом он запряг волов, и они весело побежали.

— Э, теперь, заспешили, почуяли, что домой,— проворчал дедушка, и телега скрылась из виду.

Волы торопились домой, а я оставался здесь. И когда еще увижу маму, отца, Шанко, бабушку... Я стоял у ворот как прикованный и с трудом сдерживал слезы. Но следовало вести себя по-мужски: стыдно же будет, если я расплачусь перед девчонкой!

К вечеру вернулись с поля дядя Иосиф, хозяин, и его сын Петр. Петр был на три года старше нас с Крысто, но держался просто, возрастом не кичился, и это мне понравилось. После ужина мы с Крысто остались у себя в комнате и допоздна болтали. И всё о селе...

6

Я рос очень быстро. Я заметил это тем летом.

Вот я уже стою в шеренге 1-го класса «А». Сегодня 15 сентября, год — 1920. Рядом со мной — Крысто. Крысто наклонил на лоб синюю фуражку, его светлые брови еле заметны. А синие глаза — словно дрожащие огоньки. За этими огоньками прячется страх перед будущим. Крысто мечтает сидеть где-нибудь на лугу, возле беззаботно пасущейся скотины, и не ломать голову над трудной и не нужной ему наукой. Верхняя его губа приподнята и выпячена, в ней кроется вопрос: для чего я здесь? Он смотрит рассеянно на стол и на священника и все крепче сжимает мою руку, потому что думает о своем селе. А я тоже оробело слежу за священником, который совершает водосвятие по случаю начала нового учебного года. Но в моей голове витают совсем другие мысли: как пойдут занятия с новыми учителями, сумею ли я справиться со всем этим. На мне новая одежда из черного домотканого сукна. Соткала его бабушка Неделя, а сваял валяльщик, который ранней весной приезжает с Балкана на телеге, запряженной двумя маленькими косматыми, длиннохвостыми лошаденками, в точности такими, как рисует Стоян Венев¹. Валяльщик распрягал лошадей у Андрешова кабака, и крестьяне приносили ему туда работу. Спустя некоторое время каждый получал готовое сукно: оно было гладким, ровным, совсем как купленное в магазине. Из такого сукна и сшили мне одежду, сшили по-городскому. Фуражка моя была такая же, как на Крысто, потому

¹ Стоян Венев (р. 1904) — известный современный болгарский художник.

что наши отцы — староста и секретарь общины — купили их в городе в один и тот же день. Впервые в жизни я надел башмаки, они были жесткими и тесными, как колодки, и оттого походка моя была несколько неуклюжей. Но настроение было приподнятым!

Надев училищную форму, я как бы переменялся и стал казаться себе выше и важнее. Но лицо мое оставалось прежним — с резко очерченным ртом и круглым подбородком. Только темно-коричневые глаза были другими — блестящими и любопытными. Я вертел головой, оглядывал построенные прямоугольником классы, и меня охватывала гордость: это были настоящие классы, а не какие-то там отделения! Перед классами стояли классные наставники и другие учителя, потому что в прогимназии изучают настоящие науки и не может один учитель учить всему.

Священник пел густым низким голосом. Тогда я еще не знал, что такой голос называется басом, не разбирал и слов, да это было и неважно. Скорей бы священник закончил свое дело, чтобы можно было идти в класс. Все же он поет лучше нашего священника Пырвана — наверно, потому, что он моложе. А наш священник очень стар, и у него девять дочерей. Я улыбнулся — вспомнил сказку: «Жил-был однажды священник. И было у него девять дочерей. Пришло время выдавать их замуж...» И так далее.

Школьники вокруг шумят, мальчишки толкаются, девочки хихикают, учителя успокаивают их. Все толкаются и шепчутся, потому что знают друг друга — они ведь из одного села, а я знаю только Крысто и рад, что он держит меня за руку.

Наконец священник заканчивает молебен, и сопровождаемый служкой, который несет котел со святой водой, проходит по рядам. Он макает в святую воду большой пучок васильков и кропит нас крестообразным движением. Мальчишки подставляют лбы под брызги, девочки стирают с лица ладошками серебристые капельки.

Все это происходит посреди училищного двора. Справа находится большое здание, выкрашенное в желтый цвет, слева — маленькое, с двумя классными комнатами. За ним — церковь и колокольня. Церковь — больше нашей, колокольня — из дерева, доски и балки ее потемнели и треснули. А наша колокольня вся из кирпича, в три этажа, серая, с белыми обводами вокруг окон. Крыта она цинковой плиткой, уложенной, как чешуйки у рыбы. Наша церковь красивее, слов нет! Только у нашей один колокол, а у медковецкой — три. Когда служка забирается на колокольню и дергает за веревку, сначала



звонит большой колокол, потом маленький, а потом уже средний. Вот уж музыка так музыка! И мне обидно за «свою» колокольню, потому что очень хочется, чтобы все «мое» и «наше» было самым лучшим. Как сильно врожденное патриотическое чувство! Оно охватывает сначала дедушкин дом, потом нашу улицу, потом наше село, потом наш край, потом нашу родину. А может быть, придет время, когда оно вместит в себя и нашу планету,— кто знает!

Классные наставники вводят своих учеников в классы. Наш класс оказывается в маленьком здании. Ничего, это даже лучше. В большом здании восемь каменных ступенек без перил, и когда зазвонит звонок и мы ринемся по ступенькам, кто-нибудь может тебя и толкнуть, неизвестно еще, какие они, медковчане!

Нас привели в южную комнату. Я сел — по росту — за парту с одним мальчиком — не помню, как его звали. Но это неважно. Помню только, что у мальчика было бледно-восковое, отечное лицо и желтые зубы. Мальчик был больной, но учился хорошо. Наша классная наставница проверила всех по списку, потом мы записали, какие тетрадки и учебники надо купить. Еще она продиктовала нам расписание на неделю и отпустила нас. Завтра начнутся настоящие занятия.

Имени своей классной наставницы я не помню. Не помню и как она выглядела. Запомнил я только директора Антонова. Он был высок и строен, как офицер. Слегка прихрамывал, а в правой руке держал тонкую палочку. Так же, как мой отец. Может быть, и он был ранен на фронте. Но нога у него была нормальная, директор только слегка покачивался при ходьбе, и от этого его походка была более плавной. Я запомнил его первый урок. Может быть, потому, что он был не по программе.

Директор Антонов вошел к нам, прижимая классный журнал под мышкой и держа в другой руке палку, поздоровался, мы ему ответили. Положив журнал и приставив палку к столу, он внимательно разглядывал нас. «Так и есть, на фронте ранен,— подумал я.— И в больницах тоже належался, потому что глаза у него такие же, как у отца,— немного грустные, но более острые, испытующие, и — не знаю даже, как сказать,— более умные, что ли. Может быть, потому, что директор прочел много книг — он ведь преподавал естествознание и физику...»

Но тот урок, как я уже говорил, не был уроком естествознания или физики. Это был урок жизни.

— Ну вот, вы уже старшекласники,— начал директор.— В отделении учиться было легко, а теперь вам предстоит глубже

проникнуть в науки. Это будет совсем не простая прогулка, вы будете подчас и спотыкаться, и падать, и только самым упорным окажется под силу подниматься и идти вперед. Тем, кто любит науку. Но раз уж мы заговорили о трудной работе, можете ли вы мне ответить, какая работа самая трудная?

Мы зашевелились, мозги наши заработали — в самом деле, какая работа самая трудная? Одни сказали — косьба, другие — жатва, третьи — рытье колодцев, потому что в нашем крае колодцы глубокие — до двадцати и даже до двадцати пяти метров глубины. Я сказал, что самая трудная работа — писать книги. Но директор каждый ответ встречал отрицательным покачиванием головы.

— Таааак... — вздохнул он. — Вы перечислили много действительно трудных занятий. Но я спрашивал о самом трудном. Ну ладно, догадаетесь сами. Обопритесь теперь локтями о парты, скрестите руки. И сидите так, совершенно неподвижно, неподвижно! Единственно, что можете делать, — это думать о самой трудной работе.

Мы окаменели как статуи, а о самой трудной работе думать было незачем — то, что мы могли придумать, мы уже сказали. Но скоро мы снова зашевелились. Одному муха на нос села, у другого зачесалась шея, третий увидел в окне собаку. А директор сидел и грозил нам пальцем. Прошла минута, две, три. Мы не могли уже вынести этого: сколько еще он будет держать нас так? Запрет начал давить на нас, как мельничный жернов.

И вдруг кто-то из задних рядов крикнул:

— Самая трудная работа, самое трудное дело, господин директор, — это... сидеть без дела!

— Молодец, Евгений! — обрадовался директор Антонов. — Умница! Вот я и хотел, чтобы вы это поняли. Поняли, что труднее всего в жизни — переносить бездействие, безделье. Жизнь — в движении, в работе! И никакая работа не трудна, если ее любишь. А сколько вокруг интересных занятий! Один из вас станет сапожником, другой — портным, третий — пахарем, четвертый — агрономом, инженером, учителем, писателем, ученым... И хорошо. А то что это получится, если все мы станем, например, пахать землю? И вот что еще важно: каждый из вас думает, что работает для себя, а получается, что он работает для других, потому что и другие работают для него. Кем вы станете, вы решите позже. Сердце вам подскажет. А сейчас старайтесь научиться всему. Понимаете, что я хочу сказать? Добросовестно изучайте все предметы. Тогда вам будет легче потом понять, какая же работа вам больше всего по душе...

И помчались вереницей дни, заполненные до предела уроками, домашними заданиями, играми. Самым большим нашим развлечением было встречать поезда на станции. Я вообще в первый раз увидел здесь поезд. А около станции была широкая поляна, где мы играли. У меня уже прошла тоска по родному селу. К хозяевам я привык. Петр и Иванка стали мне как брат и сестра. Дядя Иосиф был удивительным человеком — он абсолютно во всем разбирался. Где он только не побывал, пока шел своей длинной дорогой от Битолы¹ до Медковца! А остался беден... Странная это штука — жизнь. Директор Антонов, конечно, прав, но выходит, что недостаточно только стараться. Вот дядя Иосиф, например, старался всю жизнь, а ничего не достиг. И ума у него не меньше, чем у других, и трудится он не меньше, чем другие, а беден... Я, скажем, люблю книги, хочу купить много книг, самых лучших книг. А где взять денег? Я хочу учиться, закончить гимназию, закончить университет, а если у отца нет денег? Что станет тогда с моей любовью к учению и с моим трудолюбием?

Впервые я понял тогда, какую силу имеют деньги... Как старается, например, дядя Иосиф, чтобы заработать лишний лев². А вот теперь начал делать сладости (он был когда-то в Софии кондитером). Однажды вечером после ужина он и говорит:

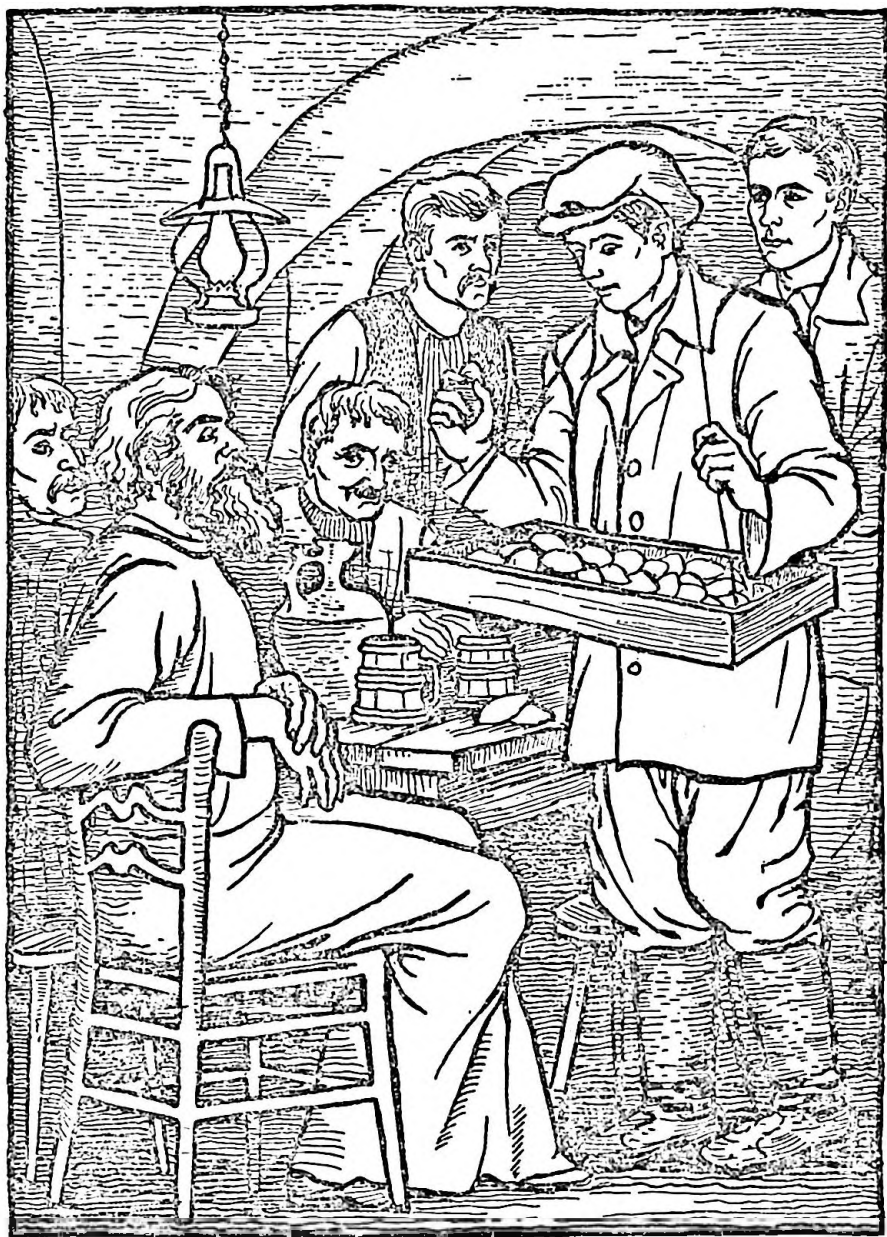
— Сделал я соленые булочки — соленки. В кабачках, вижу, не дают закуски к вину. А с соленками и вино пьется лучше, и хозяева будут довольны. Сколотил я два лотка, а вас — трое, — обратился он к нам: Петру, Крысто и ко мне. — Ну, кто из вас, сладкоежек, наденет лоток да пройдет по кабачкам? Одна соленка — один грош... И вам кое-что достанется.

Крысто отказался. Отец его богаче наших, Крысто и не знает, как важно иметь деньги. А я согласился. Мне неудобно было отказаться, потому что я хотел помочь дяде Иосифу, хотя мне и было стыдно. Как это я пойду по кабачкам как цыган, который торгует ситами и решетами? Но хочешь не хочешь — мы с Петром перекинули через шею веревки лотка и исчезли в темноте.

Холодный ветер с Дуная начисто подмел площадь, поднятый им с земли снег набивался нам в глаза. Подняв воротники и нахлобучив фуражки, мы с трудом шли навстречу ветру. У лотков были крышки, и соленки не пострадали. В первом кабачке я пропустил вперед Петра, а сам жался за его спиной.

¹ Б и т о л а — город на юге Югославии.

² Л е в — основная денежная единица в Болгарии.



Еще с порога на нас дохнуло спертым воздухом, который был пропитан табачным дымом и винными парами. Я закашлялся. Две газовые лампы с трудом загоняли мрак в углы. Петр ходил от стола к столу и выкрикивал: «А ну, кому соленки? Отличная закуска! Соленки, кому соленки?» Я шел позади и не смел подать голос.

Но и Петрова реклама делала свое дело. Люди прерывали беседу, смотрели на нас озадаченно, даже неодобрительно, но вот кто-то, видимо из жалости, запустил руку за пояс, вытащил кожаный кошелек и швырнул на стол потертый грош. И, откусив от соленки, почмокал, глядя куда-то перед собой, и вдруг с заблестевшими глазами потянулся к рюмке: «Ох и вкусно же! Ну, на здоровье!» Другие тоже полезли в свои пояса. Купил соленки первый стол, второй, третий... Кто-то купил даже целых пять штук для всего своего стола, человек этот был одет по-городскому, и я не знал его. Он мог быть и здешним фельдшером, и учителем из соседнего села. С ним рядом сидел священник. Но не тот, который совершал водосвятие, — тот был молодой и с маленькой русой бороденкой. А у этого была темная, широкая борода, и глаза словно освещали его лицо изнутри. Говорил он горячо, и остальные его слушали. Когда мы остановились перед столом, священник прервал свой рассказ, а собеседники, недовольные этим, посмотрели на нас неприятливо. Священник оглядел нас с головы до ног.

— Ты не Иосифов ли сын? То-то я тебя знаю... А ты чей будешь?

— Я не здешний, — ответил я.

Тогда священник поинтересовался, откуда я и чем занимаюсь мой отец, и, услышав имя дедушки, сказал:

— Дедушку я знаю, старостой был. А отец что делает?

— Он секретарем в общине. Потому что инвалид, — добавил я, как бы в оправдание того, что отец не может работать как все, в поле.

— Инвалид, говоришь... — задумался священник. — Да, горюшко наше, хватает нам инвалидов... А отец знает, что ты торговлей занялся? Небось узнает — не похвалит... И ты тоже, Иосифов! Уроки бы лучше учили!

Когда мы отошли, я слышал, как священник сказал:

— Одолеет Иосиф свою нищету, в капиталисты вышел. И чужой труд эксплуатирует!

Остальные рассмеялись. Что такое «эксплуатирует», я не знал, но слова «чужой труд» помогли мне понять сказанное священником. Но дядя Иосиф и не думал меня эксплуатировать, он же сказал: «И вам кое-что достанется».

Мы обошли один за другим все кабаки, а их было немало. «Торговля» шла успешно. Поздно вечером мы возвратились домой, и Петр вывалил на постель целый карман грошей. Дядя Иосиф пересчитал монеты и остался доволен. Потом дал нам по грошу и велел купить тетрадок.

Я рассказал ему про священника, «но не того, молодого». Дядя Иосиф улыбнулся:

— Это поп Андрей. Недоволен он, что я не в его партии. Чудной он поп — ни поп, ни расстрига¹. За народ борется, что верно, то верно, — за счастье для всех. Потому его и уважают. Но то, о чем он говорит, мне непонятно. «Подумаю», — ответил я ему, но, по совести, ничего толком не могу решить. Мир плохо устроен, это так, только кто может его изменить? Не мы же, простые и неученые. Поживем — увидим, что сделают ученые вроде попа Андрея...

На следующий день, когда мы с Крысто спешили в училище, нас догнал Евгений. Тот, который первым догадался, какая работа самая трудная. Он вышел из высоких ворот напротив, там был его дом. С ним вышел и тот самый поп Андрей. Но Евгений говорил ему не «отче», как надо говорить священникам, а «отец». Значит, поп Андрей был его отец? Я спросил его об этом.

— Да, отец, — ответил Евгений.

— А почему же он не был на водосвятии?

— А он священник в Сливовике... Но он и священник, и не священник...

Те же слова, что сказал дядя Иосиф. Что же это значит? Я спросил Евгения.

— Ему не разрешают входить в церковь, — ответил Евгений. — Владыка его не любит. В войну отец в чем-то его ослушался, и владыка запер его в дальнем монастыре. В Преображенском. Шесть месяцев отец был там. Потом выпустили, но владыка его не простил. А в позапрошлом году отец вступил в партию. Все село про это говорило — поповское ли это дело?

Евгений замолчал — может быть, он вспомнил о чем-то? Мы с Крысто терпеливо ждали. Мы уже ступили на деревянные мостки через ручей, но тут Евгений остановился, нагнулся, взял комок земли, твердой как камень, и бросил его в зеленую стоячую воду. Комок глухо шлепнулся в воду, разорвал зеленую тину и затонул. Над ним осталось круглое окошко, из которого брызнула мутная вода. Евгений был явно взволнован. Он продолжал:

¹ Расстрига — поп, лишенный поповского сана.

— К нам пришел один учитель из балканских сел. Там все они такие — бунтари. Так вот, тот учитель собирал наших бедняков и говорил с ними. О разных опасных делах. Я его принял за апостола¹ или гайдука, но он был не апостолом и не гайдуком, а социалистом. И отец стал ходить на те собрания. Однажды он сказал им: «Я — с вами. Примите меня в вашу партию. Я не из бедных, но у меня столько детей, что если разделить на них мою землю, они будут бедняками». Его и приняли. Вот и разозлились тогда богатеи! «Или, говорят, служи церкви, или снимай рясу!» Запретили ему быть священником, но отец не испугался, не снял рясу. Даже отдал одну нашу комнату под клуб для партии. Сейчас его называют «клуб тесняков»². Я спросил отца, кто такие тесняки, а он и говорит: «У тесняков душа широкая». Вот и пойми его. Но отец сам-то все понимает не хуже учителей, он же в Видине учился, в гимназии. А сейчас в поле работает и по городам ходит, где эти социалисты собираются...

Евгений снова замолчал, подбросил ногой новый комок земли, но даже не глянул на него. И неожиданно рассмеялся:

— В прошлом году знаете, что было? Собирались в Софии главные социалисты. Отец говорил — на съезд. Ну ладно, а владыка — хоть он и в Видине, — а все на наше село поглядывает. Прознал он про это дело и шлет телеграмму в софийскую полицию: «Сумасшедший поп из Медковца — на съезде социалистов! Хватайте безбожника и сажайте в тюрьму!» А как его схватишь, когда его нету. Отец сбросил рясу и камилавку, надел обычную городскую одежду и сидит себе среди главных социалистов. А они все бородатые, как и он. Искали, искали полицейские социалиста в рясе — и не нашли. Так отец и сделал свое дело... Может быть, он читал рассказ о Левском. Левский однажды оделся угольщиком, турки искали его под каждым кустом, а он ходит себе по улицам и кричит: «Уголь, уголь, дешево продаю!»... А когда отец дома, он работает в имении, как все крестьяне.

— Так у вас еще имение есть? — удивился я.

— Так его люди называют. Отец собрал все участки в одном месте — между Сливовиком и Медковцом, он же в Сливовике был священником, там ему ближе. Купил жатку, сноповязалку,

¹ Апостол — здесь: последователь и распространитель какой-то идеи.

² Тесняк — член революционно-марксистского крыла Болгарской социал-демократической партии, образовавшего в 1919 году Болгарскую коммунистическую партию.

сеялку — чтобы сеять по очереди. И знай себе делает ракеты и стреляет по облакам.

— Зачем же по облакам? — на этот раз выпучил глаза Крысто.

— Не по всем облакам, а по тем, из которых сыплется град. На военной службе отец научился делать ракеты, там он из орудия стрелял. Наделает ракет на длинных прутьях, сунет в дуло ружья, и — бааа-аам! — прямо в облако. Он столько вещей умеет делать — никому и в голову не придет такое! Например, на речушке построил большую плотину — весной вода там собирается, а летом можно поливать нивы...

Действительно, удивительный священник! Хотел я спросить еще что-то, но тут, к сожалению, прозвенел первый звонок, и мы помчались в классы, придерживая прыгавшие за спинами сумки.

С Евгением мы стали друзьями. Покладистый и добрый он был. И знал много. Однажды мне нужно было занести ему учебник физики. Я побежал к нему перед обедом. Толкнул тяжелую деревянную дверь и оказался в тесном туннеле между кирпичной оградой и домом. Было уже тепло, снег на дорожках растаял, круглые мокрые камни мостовой весело блестели. За домом открывался небольшой двор, засаженный овощами и многолетними растениями. Под деревьями еще лежал снег. Двор был не похож на наш — ни копен соломы, ни стожков сена, ни скотины. Я постучал в дверь, как меня научили, и вошел в просторную комнату. Под окнами, за большим столом, все собрались на обед. В середине я увидел попа Андрея. Не помню, сколько было у него детей, но за столом сидело не меньше десяти человек. Поп, попадая, сыновья, дочери. Я поздоровался, отдал учебник Евгению и пошел к двери.

— Ты куда, юнак ¹, — остановил меня поп Андрей, — от стола уходить не положено. Ну-ка садись рядом с Евгением!

Евгений придвинул к себе стул, я в смущении сел на краешек. Я сидел напротив попа Андрея. Того, что он и был и не был священником, что он стрелял по облакам и строил плотины, было достаточно, чтобы возбудить мое любопытство. Но сейчас он действительно не был священником. На голове его не было камилавки, ряса лежала на кровати. Он сидел в белой рубаше и в черных брюках. Я никогда не видел священника без рясы. Сейчас поп Андрей был похож на всех остальных людей и в то же время не был похож. И все это — из-за бороды. Эта борода отличала его от других людей и между тем напоминала мне чье-то лицо, но чье именно — я вспомнить не мог. Я лихорадочно пы-

¹ Юнак — богатырь, добрый молодец.

тался вспомнить, на кого же похож поп Андрей? И вдруг встретился с ним глазами. Ну да, конечно, он же похож на Христо Ботева из хрестоматии! И когда я посмотрел на него внимательно, сходство меня поразило. Тот же лоб, тот же острый взгляд, те же резко очерченные губы под усами, та же борода. Нет, усы были подлинней и торчали в разные стороны, но какое сходство! Открытие потрясло меня. И тут поп прервал мои мысли:

— Ну что, юнак? Что ты на меня уставился? Бери ложку!

Я как во сне взял ложку, готовый от смущения провалиться сквозь землю. А поп, видно, все понимал. Он понял и мое смущение и, чтобы успокоить меня, заговорил:

— Так ты, говоришь, внук Милчо Крыстова, а? А отец твой — инвалид войны... Как его звать?

— Сильвестр по метрике. А вообще его зовут Нистором.

— Сильвестр? — удивился поп. — Сильвестр — папа римский. По календарю назвал отца твой дедушка... А тебя самого как зовут?

Я назвал свое имя. Поп Андрей спросил меня, кем я стану. Я замешкался с ответом. Потом вспомнил, что бабушка хотела, чтобы я стал священником. Я подумал, что это понравится попу Андрею, и сказал:

— Не знаю. Бабушка сказала, что священником.

Поп Андрей словно пронизал меня взглядом, потом помолчал и вдруг рассмеялся:

— Священником... А сам-то ты что думаешь?

— Отец велел мне стать учителем.

— Бабушка сказала, отец велел... А ты их не слушай! Сам думай!

Понимают ли взрослые, что иногда они одним словом могут определить твою судьбу? У директора Антонова я научился одному, сейчас у попа Андрея — другому: думать, пробовать и определять самому, кем мне быть... А разве можно когда-нибудь забыть слова моей учительницы Славки? Это было в прошлом году. Весной. Учительница стояла перед колокольной на припек, окруженная детьми. Солнце мягко пригревало, над церковным огородом поднимался белый пар. Шла вторая переменка. Только что второгодник гонялся за мной, чтобы меня поколотить, и сестры Правка и Стефанка привели меня к учительнице с жалобой на него. Она окликнула второгодника.

— Ты погляди на себя — такой верзила вымахал! За что ты Ванчо обижаешь? За то, что он меньше тебя, или за то, что он учится лучше? Запомни, что я тебе сейчас скажу. Ты будешь по два года сидеть в каждом классе и все равно останешься неучем. А Ванчо поедет учиться в город и станет человеком, так и знай!

Пройдет мимо тебя в галошах — и не догадаешься, что это он.

Не знаю, запомнил ли второгодник слова учительницы, и почему таким богатством ей казались галоши, которые тогда входили в моду, но ее слова я запомнил на всю жизнь — как заповедь, как повеление. И я уже видел себя в городском костюме, в блестящих галошах, приехавшим в гости в наше село. Иду по улице, а навстречу мне тот, второгодник. В драной одежке, в грязных цервулях. Я поглядываю на него свысока, что значит: «Ну, узнаешь? Может быть, ты и теперь меня ударишь?»

С того дня я стал часто бывать в доме попа Андрея. И он казался мне все более удивительным. Через три года, когда его пушка загремит под Брусарцами и гром ее выстрелов будет слышен в моем селе, он станет для меня и вовсе необыкновенным человеком. Я вижу его в белой рубахе и черных брюках, волосы его и борода развеваются на ветру, а он с саблей на боку следит орлиным взором за врагом и командует. После каждой его команды орудие грохает, и этот грохот слышен даже в нашем дворе. Тогда поп Андрей будет еще больше похож на Христо Ботева из хрестоматии.

7

Я кончил первый класс. В каникулы я снова жал, собирал бобы и кукурузу, но с каждым днем делался все более молчаливым и замкнутым. Пожалуй, больше всего любил разговаривать с самим собой. Может быть, потому, что я не находил вокруг себя людей, с которыми мог разговаривать о том, что занимало мои мысли. Я внимательно слушал взрослых, соглашался с ними, возражал или спорил, но больше мысленно. И никто не чувствовал той внутренней активности, с которой я участвовал в их жизни. Все больше вопросов вставало передо мной и требовало ответа, но я не мог ответить на все, а близкие мои тоже не могли. Может быть, ответы есть в книгах, но где только найти такие книги?

Этой осенью, за месяц до начала учебного года, отец и мать решили съездить в гости к дедушке Рангелу и бабушке Иване. Взяли с собой и меня. Рассвет застал нас по ту сторону села Аспарухова. Волы медленно плелись по пыльной дороге, за телегой влачился длинный серый хвост. Ветра не было, и пыль медленно истаявала в желтом жнивье. А дорога — прямая как нитка.

После подъема на Багачину дорога стала спускаться, извиваясь вокруг холмов, поросших внизу кустарником, а вверху — липами. Слева журчала речушка, исчезая в кустах и достигая

мельничного колеса, а затем бросаясь от него к другому. До чего же красива Багачина! У одного из крутых поворотов мы остановились напиться холодной воды. Чешма¹ была каменной, кран — металлическим, из него лилась ледяная вода — наверно, с гор. Мы спустились еще ниже, и дорога пошла по равнине. Слева над ней нависла Крепость — огромный усеченный земляной конус, явно искусственный, по сторонам лесистый, а сверху плоский, как противень, и превращенный в пашню. Когда-то здесь была крепость, потому это место и называется Крепостью.

Выйдя из ущелья, дорога стала виться по краю Крепости вдоль ручья, по берегу которого рядами росли сливы. Слева засеребрилась река Лом. В первый раз я увидел настоящую реку! Едва мы достигли берега, волны вошли в воду и окунули в нее свои морды. Никогда до сих пор они не пили по-настоящему чистой воды. Я выпрыгнул из телеги, скинул обувь и робко шагнул в воду. Я ощутил прикосновение волн, приятное как поцелуй. В одном из заливчиков неподвижно стояли тысячи крошечных рыбок, с виду стеклянных, как наш сверчок, но еще прозрачнее. Как только я ступил в заливчик, рыбки, как стрелы, бросились в разные стороны. Я бы играл с ними так часами, но мама крикнула, что приближается полдень, а нас ждет еще и обратный путь.

А волам вода дошла уже до живота. Потом она залила и животы, достигнув дна телеги, и когда течением телегу понесло вниз, мне стало страшно. А навстречу надвигался отвесный берег. Наверху виднелись дома. Это и была Стальнойская слобода, родина мамы. Как она радовалась, когда мы въехали в ее родное село! «Скажи, мама, ты рада?» — спрашивал я мысленно. «Конечно, рада, ты же видишь это по моим глазам», — отвечала она мне. «А почему ты не осталась в своем селе?» — «Сама не знаю. Такая уж, видно, женская доля — считать село мужа и дом мужа своими. И отца его считать своим отцом, и мать — своей матерью. Хорошо, что ты — мальчик, тебе не надо менять свой дом на другой. А то как я буду жить без тебя? Ведь ты хоть и готовишься стать ученым человеком, не забудешь меня, сынок, не оставишь одну на старости лет?» — «Конечно, нет, что ты говоришь, мама! Разве я могу тебя оставить! Я же мальчик, и никто не заставит меня искать другую мать и другого отца!» Мама была довольна моим ответом, но не обернулась и не по-

¹ Чешма — водопроводная колонка, точнее — родник, заключенный в трубу с каменным или иным ограждением.

пыталась обнять меня, потому что наш разговор был мысленный, и она не слышала моих слов... Эх, мама, мама! Я не выполнил своего обещания! Но теперь уже ничего нельзя изменить..

Я забыл сказать, что дедушка Рангел не был маме родным отцом. Бабушка Ивана рано овдовела и привела дедушке Рангелу, тоже вдовцу, двух дочерей. И у него самого были две дочери. Потом у них еще рождались дети, и все девочки. Только последним был мальчик Гото. С ним мы родились в один год, и мама говорила, что мы одногодки. Все дочери вышли замуж, только тетя Сийка и Гото жили с дедушкой Рангелом и бабушкой Ивановой.

Бабушка Ивана была во дворе и, увидев нас, подбежала к воротам. Они нас ждали. Бабушка и тетя Сийка кинулись обнимать и целовать меня, я еле выдержал. Мне было стыдно, что меня целуют, как ребенка. Мама не любила баловать своих детей и целовала нас только лет до пяти. Потом нас уже считали мужчинами, и мы со всеми вместе ходили на работу. Я чувствовал любовь мамы скорее тогда, когда она меня ругала или волновалась за меня, если я был простужен или болен.

За столом, не помню уже как, зашла речь о школе. Меня расспрашивали, какие у меня отметки, стыдили Гото за то что у него они хуже. И вдруг дедушка Рангел сказал:

— А почему бы вам не оставить Ванчо у нас? Будет учиться вместе с Гото, в одном классе! Правда, Василловцы вон где — три-четыре километра отсюда!

В Сталийской слободе не было прогимназии, и школьники дважды в день проделывали долгий путь до села Василловцы и обратно. Я ужаснулся! Как вдруг все повернулось! Слово было за отцом, и я смотрел на него умоляюще. Отец возразил, что мне трудно будет ходить в дождь и снег, да еще вьюги завьют, и сугробы нанесет — шутка ли ребенку бороться с непогодой среди голого поля! Начался спор. Я волновался, слушая то одного, то другого, и мне хотелось крикнуть, чтобы они остановились и прекратили решать дело, которое касалось меня одного. Но они словно не видели, что я сижу рядом с ними и что надо было бы спросить сначала меня самого. Спор продолжался. Дедушка Рангел убеждал отца, что полсотни детей ходят в Василловцы, а в играх и шалостях время бежит незаметно. Бабушка Ивана добавила, что им труднее не станет: там, где сыты четверо, хватит и на пятерых. Опять же, не надо платить за квартиру — значит, и нам дешевле выйдет. Едва услышав «дешевле», мама отрезала: пусть будет так. Вот и всё. За несколько минут они без меня решили мою участь. В послед-

нее время отец все чаще соглашался с матерью. Так было и на этот раз. Согласиться-то он согласился, а на меня смотреть избегал, стыдно было...

И вот, спустя двадцать дней, я — у бабушки Иваны. Новые учителя, новые знакомства... А я уже так привык к Крысто, Петру с Иванкой и особенно к Евгению. Уже никогда больше мы не будем учить вместе с ним уроки, никогда больше я не войду в дом попа Андрея! Мне хотелось плакать от горя. Что я мог поделать? Не идти же против отца с матерью.

Конечно, я привык и к своему новому дому, и к новым знакомствам. А Гото был счастлив...

В тот момент я, конечно, не знал, к скольким домам мне еще придется привыкать и от скольких домов отвыкать. Много сел и городов я обошел, и в горах ночевал, и солдатские палатки давали мне приют и летом и зимой, и солнце меня палило, и вьюги стегали — а ведь привык же! На фронте мы разрывали снег, выкапывали землянки, сверху натягивали палатки, наносили туда соломы, собранной в опустевших селах, и ложились, укрывшись шинелями. Однажды в горах Копаоник в Сербии даже печку в землянке поставили: вырыли в земле ход, вставили трубу — и получилась отличная солдатская квартира!..

Бабушка Ивана была неграмотна, как мама, но попроще и помягче ее. Несмотря на свой возраст, она держалась прямо, была тонка и высока — дедушка Рангел был ей по плечо. Только большая баранья шапка делала его выше. С белыми торчащими усами, со своей хитроватой полуулыбкой, с глиняной трубочкой во рту на тонком и длинном чубуке, он словно сошел с рисунков Чудомира¹. Правда, я тогда ничего не знал о Чудомире, и старик казался мне немножко смешным, но очень добрым. Иногда дедушка Рангел выпивал в кабачке. Пил он мало, но быстро пьянел. Не буянил, не лез в драку, только улыбался. Увидим мы, что глаза его блестят, как у кота, и язык заплетается, — и Гото принимался дразнить его:

— Отец, скажи «слива».

Дедушка Рангел понимает, что из этого получится, но улыбается и говорит:

— Свива.

Тогда подхватываю я:

— Скажи «лопата».

— Вопата, — повторяет старик и смеется вместе с нами.

К детям, к длинной дороге до Василовцев я привык. Не мог

¹ Чудомир (Димитр Христов Чорбаджийский; 1890—1967) — болгарский художник и писатель-юморист.

я привыкнуть только к нищете и недоеданию. Мы у себя дома после того, как отец вернулся с фронта, зажили получше. У дяди Иосифа в Медковце я тоже питался прилично, но дедушка Рангел был беднее. Кроме фасоли, лютеницы¹, а весной — кислой сливовой похлебки, мы ничего другого не видели. Мясо я ел только на рождество да на Юрьев день, когда бывал дома.

Незаметно я вытянулся, руки и ноги мои стали длинными, ходил я немного сутулясь. Когда мы купались в Ломе, на мне можно было пересчитать все ребра, похожие на ивовые прутья. Я начал ощущать боли в суставах, и они не исчезали много лет. У меня пропал аппетит, да и не мог я у бабушки Иваны питаться как надо. Мама упрекала меня, что я стал привередничать, а бабушка говорила, что уж такая моя порода, что я ростом в дедушку. Но я-то лучше знал, что дело тут не в породе, а в недоедании, только не хотел жаловаться на бабушку Ивану. Да и виновата ли она была?

В довершение всего однажды я тяжело заболел. Дело было так. Мы, ребята, впервые увидели настоящий футбольный мяч. До сих пор мы делали мячи из воловьего волоса. Сделать мяч из воловьего волоса — это настоящее искусство. Целая неделя требовалась для хорошей выделки — чтобы волос стал как войлок. А этот мяч был кожаный, а внутри еще другой — резиновый. Мяч принадлежал сыну богатея, тот согласился играть с нами — что толку от мяча, если играть не с кем? И каждый день мы, перебравшись через речку на ту сторону, гоняли мяч на желтой полоске песка, иногда до самой темноты.

И вот как-то, задыхающийся и потный, я наклонился над чистым родником и досыта напился холодной воды. Спустя некоторое время мне прострелило поясницу, вечером у меня начался жар, и я-надолго слег. Дедушка Рангел послал телеграмму отцу; наш сосед Лико Цонкин приехал с телегой и доставил меня домой. Бабка Тотовица уже одряхлаела и перестала ворожить, ее сменила более опытная знахарка — Янка. Тетушка Янка была смуглая, поджарая, со смолисто-черными волосами, в ушах ее висели большие желтые серьги, она была похожа на испанку. Единственная у нас женщина — болгарка, которая курила. Все цыганки курили, это было совершенно естественно, но на то они и были цыганки. Но чтобы курила болгарка! И все же никто не упрекал тетушку Янку, наоборот: курение выделяло ее среди других женщин, придавало нечто мужское ее ремеслу. Да, курение ей шло, и голос у нее был густой, сиплый и низкий, как у мужчины. Диагнозы она ставила решительно, и никто не

¹ Л ю т е н и ц а — национальное кушанье из острого перца и помидоров.

сомневался в ее познаниях. Она не приговаривала и не гасила угли, как бабка Тотовица, она умела растирать кожу и прижигать ее адским камнем — ляписом. Где она доставала ляпис, никто не знал, но от этого лекарство казалось загадочным, и все в него верили. Если тетушка Янка видела, что болезнь у больного особенная, она говорила: «Отведите его к доктору. Это дело не для меня». И оттого ей верили еще больше.

Моя болезнь была как раз для тетушки Янки, и она взялась меня вылечить. Приложив ладонь к моему лбу, она определила температуру, потом сунула руку мне под рубашку; при этом лицо ее было неподвижно и непроницаемо словно у сфинкса. Откинув одеяло, она расстегнула на мне рубашку, приспустила брюки и долго ощупывала мой живот. Наконец, введя пальцы глубоко под ребра, она отрезала:

— Вот «оно». Я разотру его, и все пройдет!

«Я разотру его» означало, что она «раскрошит» болезнь, затаившуюся внутри под ребрами, «рассеет» и «растопит» ее. Но боже мой, что это было за растирание! Она не смачивала кожу мыльной водой и не смазывала ее оливковым маслом, она терла посуху, терла жестоко, безжалостно. Я горел в огне и одновременно меня трясло от озноба, а она мне приказывала стоять не шевелясь и не мешать ей делать свое дело. Ее острые пальцы как бы пронизывали мое тело, ее костистые кулаки, месили меня, словно тесто. Я стонал, корчился, но не смел кричать, да и не подобало мужчине моего возраста хныкать, как девчонке. Мама стояла рядом и умоляла тетушку Янку растирать меня мягче, а та огрызалась:

— Если ты знаешь больше меня, нечего было меня звать. Или стой молча, или уходи совсем.

И мама вышла, чтобы не видеть, как меня мучают, и не заплакать на людях. Когда я стал мягким, как отбитое мясо, тетушка Янка застегнула мою рубашку и завернула меня до самого подбородка в одеяло. Потом присела у печки, полезла к себе за пазуху, вытащила коробку папирос, спички и закурила.

Прошел день, второй, мне стало хуже. Снова позвали тетушку Янку. На тревожные мамины вопросы она уверенно отвечала, что поставит меня на ноги, нужно только подождать, пока болезнь пройдет своим путем,— как бог даст. Но если мама очень настаивает, она может прижечь меня адским камнем — хоть это и стоит дороже,— и все на мне заживет, как на собаке. Мама кивнула головой в знак согласия: пусть это стоит денег, только спаси ребенка. Тогда тетушка Янка вытащила из-за пазухи что-то, завернутое в платок. Пазуха, видно, служила ей сумкой. Она там держала и деньги, и папиросы, и этот сверток.

Осторожно развязав узелок, она показала нам тонкие и длинные серые палочки. Раздев меня снова, она взяла одну из них, ухватила ее как карандаш и начала чертить на моей груди поперечные полосы. Потом нарисовала продольные. Палочка царапала кожу, как тупая иглолка, но боль была терпимой. Начертив на мне густую ляписовую сетку, тетушка Янка обернулась к маме:

— Мыть его нельзя. Когда выступают волдыри — не пугайся. Это болезнь будет выходить из тела.

И, сунув мешочек с палочками за пазуху, тетушка Янка достала оттуда папиросы и снова задымила.

Через несколько часов на моей коже появилась сетка — красная и вздувшаяся. Вскоре вдоль черточек набухли пузыри, похожие на кукурузные зерна. Прикосновение к ним опаляло меня огнем. А температура, вероятно, поднималась, унося меня в фантастические сны, — мысли мои улетали далеко-далеко и исчезали. Балки на потолке превращались в рельсы, по ним грохотали черные поезда, в ушах у меня звенело, потом я внезапно глож. Появлялись какие-то реки, они бурлили, сливались, увлекали меня на дно, потом снова выбрасывали из пенистых глубин...

Я выздоровел. Правда, с тех пор до самого призыва в армию я был худой и слабый и чувствовал себя временами неважно. Но, в общем, был совершенно здоров...

Закончил я второй класс, закончил и третий. Счастливый, со свидетельством в узелке, я побежал домой, в свое село. Гото провожал меня до Крепости. Мы долго не могли расстаться. Но в конце концов пожали друг другу руки, как настоящие мужчины, и я побежал. Немного погодя я обернулся. Гото все еще стоял на месте. Он сжимал в руке кепку и, то ли от жары, то ли от переживаний, весь взмок, потому что, провожая меня взглядом, время от времени вытирал кепкой лоб. Мы привыкли друг к другу. Редко выходило, чтобы дядя и племянник рождались в один и тот же год, один я у нас в селе мог похвастаться, что у меня есть дядя моих лет да к тому же ниже меня ростом. Я остановился. Мы смотрели друг на друга издалека, готовые снова соединиться и никогда не разлучаться. Гото был единственный человек, которому я доверил одну свою тайну. Это было месяц назад. И тайна еще больше нас сблизила. Невинная тайна, поразившая своей неожиданностью скорее меня, чем его. Среди мальчиков и девочек, с которыми мы каждое утро бегали в Василовцы, была Ана. Полненькая, шустрая девочка. Она, правда, не бесилась, как другие, а чаще молчала, как я. С ней было приятно идти рядом: ты молчишь, и она молчит; думаешь о чем хочешь, можешь и о ней думать, и никто не пристаёт к тебе с глупыми

вопросами, никто не досаждал тем, что тебе неинтересно. И я чувствовал, что она мне становится ближе. Однажды я открыл нечто удивительное: Ана была похожа на мою маму. Такое же круглое лицо, те же румяные щеки, тот же резко очерченный рот, тот же взгляд. Это привязало меня к девочке еще больше. И однажды я не выдержал и по секрету признался Гото, что Ана мне нравится, что мне хорошо с ней. Не знаю, понял ли он меня, но тайну мою принял по-мужски и этим стал мне еще дороже... И вот теперь мы расстались. Для меня это была разлука и с ним, и с моей тайной, и с Аной. Я вдруг рванулся к нему, он тоже побежал мне навстречу, и мы остановились друг против друга. Я чувствовал, как теплая волна заполняет мою грудь, заливая всего меня до самых глаз. Я снова пожал ему руку и сказал: «Пиши!» В сущности, я сказал ему: «Пиши мне обо всем, и самое главное — об Ане!» И он должен был, непременно должен был об этом догадаться, недаром же он был единственным человеком, которому я доверил свою тайну.

Не успел я миновать Крепость и войти в ущелье, как за первым же поворотом увидел шедших мне навстречу людей. Их было много. Они спускались по склону потоком. Двое передних несли знамена: одно — оранжевое, другое — красное. А хвоста колонны не было видно. Что это могло быть? Я посторонился, чтобы дать им дорогу, и стал искать среди них знакомые лица. Но я не узнал никого. Колонна тянулась мимо меня, и не было ей конца. И вдруг я услышал, как кто-то назвал меня по имени. Пока я старался понять, кто это был, я почувствовал чью-то ладонь на своем плече:

— Ванчо! Племянничек! Ты домой?

— Дядя Фоко!

Но у меня не было времени отвечать на его вопросы, он мог и сам догадаться, куда я иду. Мне же нужно было узнать, куда идут они. Дядя оттянул меня в сторону и сказал:

— Замутилась тут вода... Военные и богачи задумали кое-что, но мы еще посмотрим! Тут народ из Прогорельца, и Котеновцев, и Комоштицы, из Быз-кары. На митинг идем в Видин. Скажем там начальникам в округе, чтоб они глаза пошире открыли, а то без крови не обойдется... Не успел я дома только побывать; скажи, что видел меня. Да, так-то вот. Ну ладно, надо спешить, а то отстану.

И побежал догонять колонну.

До самого дома у меня не выходили из головы дядины слова. Я уж позабыл о войнах, а теперь опять не обойдется без крови, как сказал дядя... И что это за мир, в котором нельзя обойтись без крови? Как помню себя — все кровь, кровь... Человек

печется о своем здоровье, смотрит, как бы ножом не порезаться, палец топором не обрубить, а ему дают в руки ружье, и он стреляет в других. И что заставляет их, хороших прежде людей, становиться жестокими? И кто такие эти военные богачи? Получается, что дядя идет против них, они его враги. Значит, и мои тоже? И не только мои враги, но и дедушки, и отца...

Размышляя, я вдруг вздрогнул: что же будет, если там, где «замутилось», действительно дело дойдет до крови? Что будет, если я не смогу поступить в гимназию?

Домой я пришел с тяжелым сердцем.

В Ломское педагогическое училище я все же поступил. Но в конце концов то, что давно и тайно назревало, вышло наружу. И не обошлось без крови...

8

Не прошло и двух-трех дней, как нагрянула беда. Было начало июня. Дедушка налаживал во дворе телегу для перевозки сена — приближался сенокос. Дедушка увлекся работой и мурлыкал что-то себе под нос. В первый раз мы будем косить на собственном лугу. Отец купил, как и собирался, маленький лужок в Верхнем Логе. Время шло к обеду. Ворота заскрипели, показался отец. Почему-то в этот день он пришел раньше обычного. Он поспешил к дедушке. Подойдя к нему, отец облокотился на борт телеги, чтобы дать отдых больной ноге, и заговорил. Он был очень взволнован. Я подошел послушать.

— Ночью в Софии произошел переворот. Правительство Стамболийского свергнуто!

Дедушка опустил топор и выпрямился:

— И кто же его сверг?

— Кто! Военные.

— Военные это могут. Если не гонят людей на смерть, тогда устраивают перевороты. И кто же за их спиной?

— Заговор. Профессор Цанков¹.

— А царь, думаешь, не с ними? Его работа. Не выгорело дело у Стамболийского! Отбирал у богачей имения, раздавал землю бедным — хороший был человек, — да армию прибрать к рукам не сумел, а сила-то — в саблях. Сейчас как вернется Мойси де Жанейро, Быз-кара снова станет его именем. А отдадут ему люди землю добром? Нет, не пройдет это так, люди помирать будут за землю. А партия «того, красноглазого» что делает?

¹ Цанков Александр (1879—1959), «кровавый профессор», — главарь болгарских фашистов. В 1944 году бежал в гитлеровскую Германию.

Эта партия была партией социалистов, партия дяди Фоко и попа Андрея. А «тот, красноглазый» был дядя. Боевой он был, еще ребенком был боевой. Однажды он сделал ружье из бузины и набил его настоящим порохом. Где он только его нашел? Потом велел мальчишкам разбежаться подальше, поднес к пороху уголек, и случилось нечто неожиданное. Ружье разорвалось, огонь лизнул дядю по лицу, коснулся глаз, взрывом дядю швырнуло на землю. Но ничего, обошлось. Обгоревшая кожа поджила. Только в одном глазу так и осталась краснота и рябинки на нижнем веке. Потому и называл дедушка сына «тот, красноглазый». Пострадавшим глазом дядя видел хуже, но скрывал это: узнают — ни одна девушка за него замуж не пойдет!

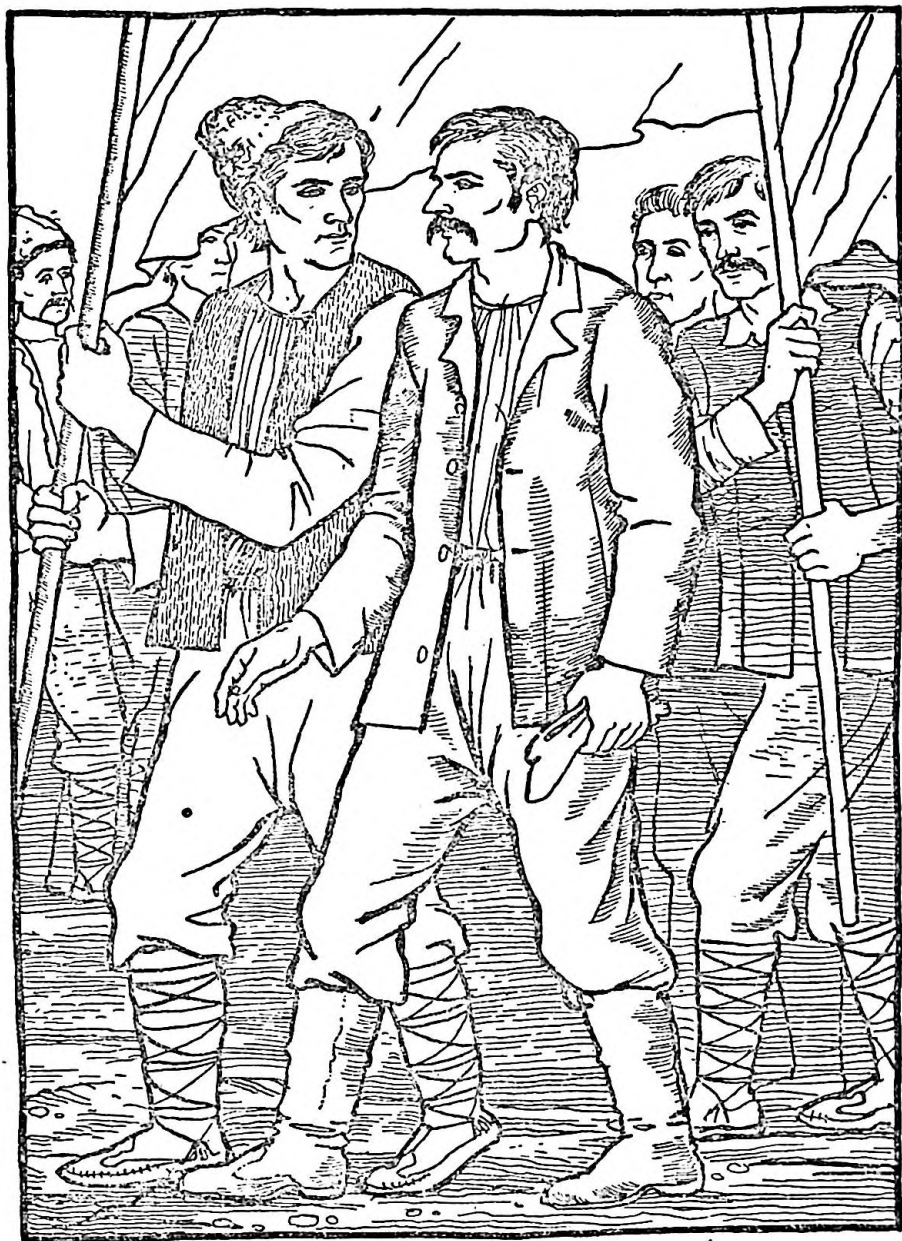
В тот же день из города пришли солдаты с двумя офицерами. Староста Пырван Павлов, отец Крысто, был арестован и заперт в церковной школе — мы называли ее теперь тюрьмой, — в том самом классе, где я учился два года. Скоро оба класса были заполнены «земледельцами» и коммунистами. Старостой снова стал Петр Гурзов. Дядя злился, он считал, что не их дело вмешиваться в борьбу между заговорщиками и Земледельческим союзом...

Но со сменой старосты и арестом двадцати человек или около того все наконец закончится. Арестованные ни в чем не виноваты, их выпустят на свободу, когда пройдет буря. Правда, Петра Гурзова я не любил, потому что его не любило все село. Но мое-то какое дело? Пусть все закончится спокойно, без крови, и осенью я поступлю в Ломское училище!..

Не упрекайте меня. Я очень хотел учиться и не мог предвидеть, какие наступают события. Я не знал, что власть взяли в свои руки отъявленные реакционеры, которых позже назовут фашистами. Я не знал, что этот фашизм унесет у нас тридцать тысяч человеческих жизней. Только осенью я пойму, что произошло в тот июньский день...

Мужчины несколько дней не выходили из домов, потом один за другим собрались в Андрешовом кабачке. Поползли слухи, что в Плевенском и Врачанском округах вспыхнули восстания, одни говорили, что восставшие снова захватили власть, другие — что они разбиты. Началась смута. Теперь я был уже уверен, что настанут тяжелые дни — это предсказывал дедушка, а то, что он предсказывал, всегда происходило. «Что это за государство, — возмущался он, — в котором брат убивает брата? Надо навести порядок, но до сих пор всех, кто пытался это сделать, били и убивали!» Все пропало, не смогу я в этом году учиться...

Дни шли за днями, село поутихло. Арестованных освободили,



и я успокоился. Я начал даже сомневаться в дедушкиной правоте. Но оказалось, что мои мысли плавали по поверхности, что затишье было только внешним. Да и мог ли я знать, где иногда пропадает мой дядя? Нарыв назревает вначале глубоко, и его не чувствуешь. Только когда созреет — выйдет на поверхность. Приближалась осень, я жил только мыслью о том дне, когда отправлюсь в город.

Пришел сентябрь. Однажды отец сказал мне: «Собирайся, утром поедem в город». Утром у двора уже стоял кабриолет Тодора, прозванного Валахом¹. Тодор решил зарабатывать на жизнь своим кабриолетом, запряженным двумя лошадьми, и не ошибся. Село росло, дело у людей в городе всегда находилось, и он ежедневно возил в Лом двух-трех пассажиров.

Мы остановились на Расовском постоялом дворе. Не знаю, почему он назывался Расовским, но были и Медковецкий постоялый двор, и Комоштицкий, и каждое село останавливалось на своем постоялом дворе. Расовский содержали два македонца, оба тощие как жерди, одетые в одинаковые серые костюмы, оба светловолосые, с маленькими стриженными головами. Двор уже был запряжен телегами; шла пятница, базарный день. Тодор остался с лошадьми, а мы с отцом вошли в дом. Пахнуло чем-то сладким, аппетитным. Кушанья были очень вкусными — я никогда не ел таких. Если бы такие кушанья готовили у нас, я бы ел в охотку, а то я только рос и худел, и неизвестно, чем бы все это кончилось. Но тогда я мало над этим задумывался.

Новая моя квартира оказалась совсем рядом с постоянным двором. Нас встретила госпожа Пеша, известная всему нашему селу. Ее даже звали учительшей Пешей, хотя никакой учительницей она не была и вообще не имела образования. Муж ее был когда-то у нас учителем, и если заходил разговор об учителях, всегда вспоминали и о нем. Учитель Вылнев. Даже нынешние дети знают это имя. Агроном по специальности, он оставил неизгладимый след в людских душах, чему бы он ни учил. После его смерти госпожа Пеша вышла замуж в городе. У нее был низенький домик, он прятался за густым огородом. У стола под развесистой яблоней сидел мужчина с мальчиком моего возраста. Они тоже пришли снимать квартиру. Отцы завели разговор между собой, а госпожа Пеша решила вопрос по-соломоновски: ладно, она сдаст комнату сразу двоим, так даже лучше будет для нас, мальчиков. Отцы были согласны и ударили по рукам.

Жизнь все время предлагала мне новые знакомства, и каж-

¹ В а л а х и — народность, вошедшая в состав румынской нации.



дый раз вопреки моему желанию. Вот этот мальчик из Ылчедрыма, которого я никогда не видал и даже не знаю по имени, теперь мой сосед по квартире, и целый год мы будем спать с ним в одной комнате, а может быть, и в одной постели. (Да, так оно и было.) С квартирой все разрешилось, оставалось подать заявление в училище. Я нахлобучил свою соломенную шляпу, и отец повел меня туда. На улице многие вежливо здоровались с нами, а я лопался от гордости, что отец известен всему уезду. Да и как ему не быть известным? Он ведь знал все законы, давал людям советы, связывал их с адвокатами. Я уже не говорю о том, что он один мог сказать, чья мать имеет право на пенсию за убитого на фронте сына, чем прославился даже в соседних уездах. Люди приходили, недоверчиво соглашались приложить палец к какой-то бумаге, а через несколько месяцев получали пенсию за все прошедшее время...

А на улицах — народу! Женщины с сумками и мешками, мужчины, прижимающие к груди поросят или петухов, — все торопились на базар.

Педагогическое училище находилось на главной улице, почти на берегу Дуная. Напротив виднелась пристань, блестела широкая река, темнели ивы на румынском берегу. «Так близко, — удивлялся я, — а чужая земля. А ивы такие же, как у нас!»

Перед училищем, собравшись в кучки, шептались мальчики и девочки. И тут я неожиданно вспомнил об Ане. А вдруг и она пришла подавать заявление? И только сейчас я упрекнул себя за свою молчаливость; я же мог спросить ее, собирается ли она учиться в городе. Остановившись немного позади отца, я пошарил взглядом по группкам детей, но Ани нигде не нашел. Первая потеря в моей жизни... Не столь уж болезненная, но мне было грустно... Ну вот я и принят в училище. Отец нашел мне и опекуна — секретаря училища, своего приятеля...

Много времени мне понадобится, а может быть, я так никогда и не сумею почувствовать себя здесь как равный с равными. Городские ребята были моим идеалом, но они держались надменно и тайком посмеивались над сельскими, из которых некоторые еще носили цервули. Я, конечно, не ходил в цервулях, но моя соломенная шляпа выглядела все-таки как деревенская. Городские мальчики не носили таких шляп. И потому я держался ближе к сельским, там я был в своей тарелке, там я знал, с кем и о чем говорить. Я втайне поклялся не ударить в грязь лицом перед городскими ребятами и старался изо всех сил.

Долго еще делил я учеников на городских и сельских. И все старался уединиться. Может быть, потому, что я был чересчур к себе требователен, может быть, потому, что я все время искал

то, чего мне не хватает, и не находил, но я ставил перед собой все более замкнутым и разговаривал больше сам с собой. В эти часы разговорах-размышлениях я пытался найти некую систему, некую истину, пытался понять, что такое добро и что такое зло.

Был у нас один учитель, Канев. Пожилой, с белой, словно просто потерявшей цвет бородкой и с таким же бледным лицом, так что борода и лицо сливались, и голова его казалась выструганной из камня. Благородное лицо. Всю жизнь он учил своих учеников понимать прекрасное, цвет, линию, сидел им весь свой талант художника. И вот над этим святым человеком городские ребята жестоко потешались. Когда, усевшись на задние парты в кабинете рисования, они слышали, что учитель идет по коридору, они начинали дружно скандировать: «Каньо идет! Каньо идет! Каньо идет!» Учитель бесшумно входил, останавливался на пороге, оглушенный этой взрывной волной, потом подходил к нам и терпеливо ожидал, пока жестокость утомит сама себя и затихнет. Тогда он говорил: «Меня зовут Канев». И, словно ничего не случилось, ставил перед нами модель античной статуи, и урок начинался. В следующий раз кто-нибудь придумывал другое издевательство. Один из учеников влезал на парту и раскачивал висящую под потолком электрическую лампочку. Другие раскачивали остальные лампы, и те начинали плавный танец. Когда учитель Канев входил, вожак банды с удивительной артистичностью восклицал в тревоге: «Господин Канев, землетрясение!» — и показывал ему на лампочки. Учитель поднимал глаза к потолку, убеждался, что на этот раз над ним никто не шутит, и бежал в учительскую. Жестокость ликовала! Кто-нибудь из шутников выходил к столу и копировал учителя — как он входит в учительскую, полную учителей, потому что Канев был аккуратен и шел на урок первым, как восклицал он своим писклявым голоском: «Господа, землетрясение!», как учителя спокойно смотрели на него и кто-то из них говорил шепотом: «Старик выжил из ума! Почему его не выгонят и не назначат кого-нибудь помоложе?»

Я задыхался от негодования. Потом я долго раздумывал. Ну откуда берется эта ничем не вызванная жестокость у городских ребят? Да для нас, сельских, учитель был богом! Неужели чей-то отец научил их этому? Или жестокость крылась в человеческой душе, забытая великой эволюцией? И проспала там миллионы лет, а сейчас пробудилась? Но я не видел жестоких животных. Животные ищут себе пищу, и они не виноваты, если им надо съесть друг друга. Выходит, что жестокость — человеческое изобретение. Но откуда она берется у этих мальчишек? Зачем они унижают беспомощного пожилого человека?..

Деление учеников на городских и сельских я проводил вначале. Тогда, когда сельские держались скромно и застенчиво, когда стыдились своего деревенского происхождения, когда чувствовали что-то вроде своей неполноценности. Но прошел год-два, и различия стерлись. Тогда для меня все, независимо от происхождения, стали делиться на бедных и богатых, умных и глупых, ленивых и прилежных, добрых и злых...

А какие у нас были учителя! Директор Владимирова, математик, с поседевшей красивой бородой, всегда опрятно одетый, уверенный в себе, обаятельный. Или Макариев — физик с добродушным крестьянским лицом. Он умел внушить нам любовь к своему предмету просто и вдохновенно. Его сын учился в нашем классе, но он и ему ставил единицы, когда тот не знал урока. «Сейчас у тебя появится кол, как в нашем винограднике» — значило, что он ставит ему единицу. Он действительно ставил не только двойки, но и единицы, которые до конца полугодия превращались в тройки и четверки. А Кожин, русский, который раскрыл нам красоту и музыку русского языка? И не через грамматические правила, а через живое слово. Он начинал декламировать пушкинского «Пророка», и класс замирал, а заканчивал читать, ребята кричали: «Еще, еще!» А учитель рисования Никола Вылчев? Он был молод, всего на шесть-семь лет старше восьмиклассников, но для меня был примером для подражания. (Он пробудил во мне желание стать художником. Я не стал скульптором, как мечтал, и сожалею об этом всю жизнь.)

Всех не перечислишь. В Ломском педагогическом училище я учился всему, даже человечности и этике.

Единственный учитель, который возбуждал во мне неосознанную неприязнь, был учитель гимнастики Симеон Йосифов. Почему, я тогда не знал. Во всяком случае не только потому, что он опозорил меня перед девочками. Наш класс был мужской. Однажды мы занимались во дворе гимнастикой, одетые в фуфайки и трусы. Прозвенел звонок, но учитель нас не отпускал. Вышли ребята из других классов, девочки окружили нас и издалека следили за нашими упражнениями. Может быть, я сделал какую-то ошибку, не помню, но учитель вызвал меня и стал у всех на виду подшучивать надо мной, что я слабосильный, что меня схватит туберкулез. И все это он говорил с ехидной улыбочкой, поощряемый смехом девочек. Даже трусы мои ему не понравились, и он дернул их вниз. Я еле их удержал, сгорая от стыда и гнева. Но нет, не за это не любил я его, а потому, что и другие его не любили. Его называли недоброжелательно «Семенко». Раскрыл он себя сразу после переворота. Тогда ока-

залось, что он офицер запаса, сторонник власти Цанкова. Учителя боялись его. А он ходил как хозяин — высокий, напыщенный, шея согнута, как у быка, а мускулатура развита явно не за счет школьной гимнастики.

Так или иначе, окружающий мир становился для меня все более понятным. События и люди выползали из хаоса и строились в систему, в две основные группы. И эти группы противостояли одна другой. А я был посреди этого мира и искал в нем свое место. Вначале мной руководило только чувство справедливости. Но скоро я запутался: выходило, что справедливость, как и многие другие вещи, не одна и та же для всех. На каждом шагу я сталкивался с тем, что справедливое для одного несправедливо для другого. Для военных было справедливым убить Стамболийского, сажать в тюрьмы и пытаться людей. А для бедных это было несправедливостью. Выходило, что истин в жизни по крайней мере две, и иногда не так-то просто найти свою истину...

В то время учащиеся носили форму. Носили ее везде под угрозой наказания. Для городских само наличие формы уже было наказанием, и они старались носить ее так, чтобы хоть чем-то ее осмеять. Ходили, расстегнув воротники, в мятых шапках, размахивая поясами, а по вечерам одевались в гражданскую одежду, чтобы гулять сверх разрешенного часа. Для меня же форма значила многое. Еще в первый день отец заказал мне форму, и портной обещал сшить ее за неделю. Он сдержал обещание, и когда в первую пятницу после начала учебного года я ее надел, то пожалел, что не было большого зеркала, в котором я мог бы увидеть себя целиком. Облегающая синяя куртка и длинные брюки, синяя фуражка с монограммой «ЛПУ», что означало «Ломское педагогическое училище», широкий черный кожаный пояс с такой же монограммой. Я надел форму и как бы сразу возмужал. Да я и так уже обнаружил черный пушок у себя под носом и следил каждый день, не становится ли он заметнее. Шинель была мне длинновата и широковата, но в ней надо было проходить все пять лет — у отца бы не хватило денег шить мне каждый год по шинели.

С каким нетерпением я ждал окончания субботних уроков, чтобы побывать дома. Первое мое возвращение домой! И в новой форме! Пусть меня увидит все село, увидит, что я уже не тот мальчуган, которого звали Ванчо, сын Нистора Милчева, что я теперь Милчев Иван Сильвестриев, ученик Ломского педагогического училища!

С той самой субботы все и началось. Скорее — с ночи на воскресенье...

Ничего не подозревая, я добрался до села, дошел даже до

площади. Но никто не обратил на меня внимания. Только дома мама и бабушка вертели меня, разглядывали и радовались. Дедушка расчувствовался, потому что я был похож на офицера, и пустился в воспоминания: как он носил гвардейскую форму, как лучше всех выполнял сабельные приемы. Взяв палку, он вытягивался в струнку и командовал себе: «Сабли на плечо!» И артистическим движением поднимал саблю. Все команды он знал по-русски — его учили русские офицеры!

Вечером я лег спать рано и незаметно заснул.

Меня разбудил яростный лай Лишко. Я не знал, сколько сейчас времени — часов у меня не было, — и я обычно считал время по петухам. Но если судить по тому, что мне ужасно хотелось спать, было часов десять или около полуночи. Лишко залаял еще яростнее, отец проснулся и сказал матери:

— Идет кто-то. Не вовремя. За мной это.

Почему отец сказал «за мной это», я до сих пор не знаю. Но действительно, кому понадобится искать среди ночи дедушку или маму, — у нас только отец занимается общественными делами в общине, и, наверное, явился какой-нибудь начальник из уезда или округа. А может быть, отец и знал, что его будут искать... Мама накинула платье и вышла. Немного спустя я услышал в темноте шаги. Мама вошла первая, зажгла лампу и сказала:

— Входите.

Вошли трое. Первый — с ружьем. Кто они были, я в темноте не разглядел, хотя понял, что это наши, сельские. За ними показался дедушка. Шанко тоже проснулся, но, увидев ружье, нырнул под одеяло. Зачем они пришли с ружьем, что такого сделал отец? Неужели его хотят арестовать?

— Вставай, Нистор, — сказал тот, с ружьем. — Одевайся, пойдешь с нами.

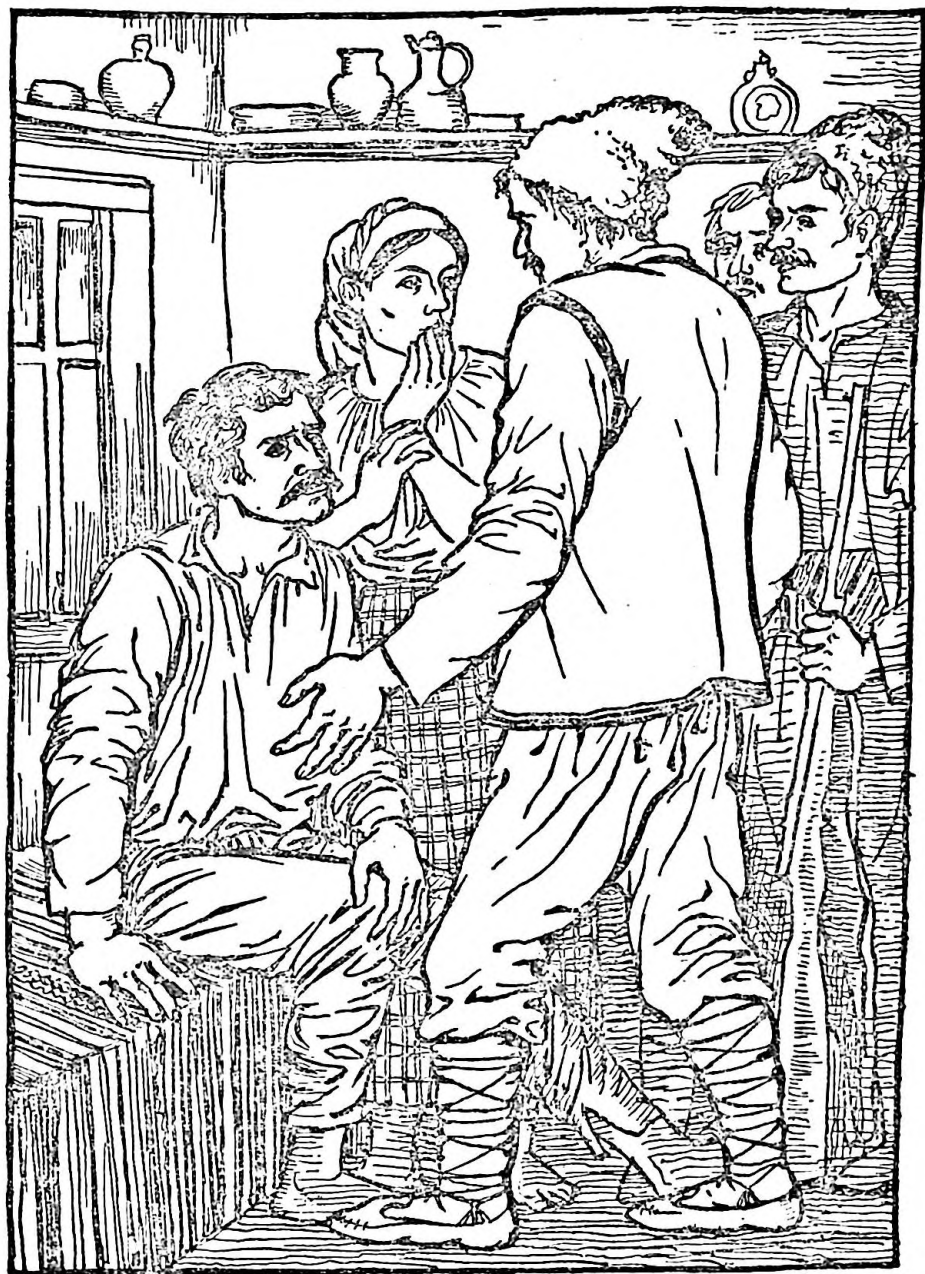
— Как это так «пойдешь»? Что он такого сделал? — встревожился дедушка.

И мама испугалась:

— Никуда не ходи, Нистор! Вот еще! Среди ночи! Если вам надо, утром — добро пожаловать.

Тот, с ружьем, улыбнулся:

— Да не бойтесь вы. Не на расстрел же мы его ведем. Одевайся, Нистор. Мы только что заняли общину. Власть теперь наша. Пырван Павлов снова староста. Восстание! — Человек поглядел на дедушку: — Петра Гурзова, Галуца Крецулова, Ценко Торнева и других заговорщиков посадили в тюрьму. Мы сказали им, что пальцем не тронем, если будут сидеть смирно. Мы не хотим убивать, как те, пусть видят, что мы за правду,



а их кровь нам не нужна... Пошли, Нистор, проверим кассу, чтобы потом у тебя не было неприятностей.

Отец стал привязывать протез, глухо говоря:

— А я догадывался, что вы надумали, только... Нелегкое это будет дело...

Пока отец одевался, человек с ружьем все говорил. Говорили и другие. Глаза у всех блестели. Они были так взволнованы и воодушевлены своим первым успехом, что слова отца «нелегкое это будет дело» не произвели на них никакого впечатления.

Дедушка и мама пришли в себя. Успокоился и я. Во всяком случае за отца. Потому что остальные дела никак не радовали. И я на свой лад пытался разобраться в том, что же все-таки происходит. Если вы заметили, дети рассуждают очень логично, не то что взрослые. Я искал последовательность в мыслях взрослых, а наткнулся на серьезное противоречие. «Власть теперь наша!» — сказал тот человек, то есть — крестьянская, народная. Он сказал также, что они борются за свою правду, а не для того, чтобы проливать кровь. Но тогда зачем они вооружились? Явное противоречие! Я сбился и начал все сначала. Ну ладно, военные совершили переворот, с помощью оружия отобрали власть у Стамболийского. Значит, правда Стамболийского им не нравилась и у них была своя правда. И снова я пришел к мысли, что на земле много разных правд, и каждая хочет взять верх.

Тут в разговор вмешался дедушка, и мои мысли разлетелись, как стайка воробьев.

— Вот потому он и не явился в ту ночь. Я думал, он на вечеринке засиделся у кого, а выходит... Сколько же еще страдать этому нищему народу...

«Он» был дядя Фоко. И он все больше вырастал в моих глазах.

— Не бойся, бай Милчо, — сказал один из мужчин. — Нистор никому зла не делал, всем советовал, всем помогал, он учнее нас, но он не против нас. А Фоко — с народом. Потому что если ты со всеми — значит, с нами. Нельзя больше терпеть. Земледельцы и коммунисты — сейчас мы все заодно, весь народ поднялся, чтобы свергнуть власть заговорщиков!

Мужчина, сказавший эти слова, открыл дверь, другие последовали за ним, вышел и отец. Мама стояла выпрямившись, как громом пораженная, дедушка поглядывал то на нее, то на нас с Шанко, высунувшим голову из-под одеяла, и непонятно почему накинулся на нас:

— А вам спать надо! Чего глаза вытаращили! А ну спать! — И добавил тихо: — И что только ждет вас в эти мятежные годы!

Трудное время... А ты, молодка, не бойся. Слыхала же — ничего плохого Нистору не сделают. А вот с Фоко что будет — не знаю. Убьют его, горемыку... Вот такая у нас судьба. Первого сына похоронили еще ребенком, второй — с одной ногой остался, а третий...

Утром, едва рассвело, пришел дядя. Мы все были на ногах, да и как тут уснешь после ухода отца? Дядя, запыхавшийся и взволнованный, швырнул кепку на кровать. Его красный глаз светился как уголек. Для меня он был уже героем, и я смотрел на него с гордостью.

— Мама, дай чего-нибудь поесть, — обратился он к бабушке. Потом сказал дедушке: — Началось, тато! Богачам теперь конец! Идем на Лом! Поставим теперь всюду своих людей... Давай, мама, а то мне пора.

Дедушка молча смотрел на него, подкручивая ус, потом вытащил папиросу, закурил и только тогда спросил:

— И что вы думаете, легко взять власть?

— Если надо — будем драться!

— Знаю, что драться. Тут без драки не обойдется. Только с кем воевать будете?

— Как это с кем? С буржуазией!

— А солдаты за вас?

— Как же они за нас, если мы идем брать Ломские казармы!

— Эх, сынок... Вы повторяете ошибку Стамболийского. Если армия против вас, плохо ваше дело. Перебьют, как цыплят...

— Ну уж нет, не перебьют! Народ поднялся, тато. Перебить весь народ нелегко! Все села в наших руках, большая сила идет на город! Мы победим, тато, победим их!

Обычно дядя, когда спорил с бабушкой или был чем-нибудь взволнован, называл его «тато». Этим обращением он выражал несогласие с ним, а сейчас он вкладывал в это обращение всю свою веру в победу.

Дедушка выслушал, сжал губы и сказал:

— Не знаю. Да поможет вам бог. Только не выгорит ваше дело.

Бабушка не вмешивалась в мужской разговор. Она молча поставила на стол все, что нашлось в доме, и пока дядя ел, наполнила сумку хлебом, брынзой и луком и положила к его ногам. Дядя поспешно ел, а она смотрела на него затуманенным взглядом, словно видела в последний раз. Когда дядя встал и взял сумку, она глухо зарыдала. Дядя побежал к площади, а она стояла у порога и смотрела вслед, пока он не скрылся из виду.

потом перекрестила воздух тремя согнутыми пальцами и вышла во двор.

Я сгорал от любопытства. Не знаю, достаточно ли хорошо я понимал, что происходит вокруг, но если бы меня тогда об этом спросили, я бы ответил, что мне все понятно и все идет как надо. Моя романтическая юношеская душа была взбудоражена — не каждый день творились такие дела, — и уже одного этого хватало для того, чтобы разжечь мое воображение. Я старался, чтобы Шанко не заметил моего состояния и не начал приставать ко мне, ведь он ребенок, а я понимал, что это не детские заботы. Я побежал к общине. Заодно погляжу, что делает отец. Прибежал, а перед общиной толпятся мужчины, в стороне стоят женщины — у кого мешок, у кого сумка, полная снеди. Среди мужчин я заметил Камена Гурзова. Камен Гурзов был братом старосты заговорщиков — Петра Гурзова, который сейчас сидел в келье. Удивительное дело! Один брат — кабатчик, богатей, заговорщик, другой — коммунист, да еще во главе восставших! А ведь Камен был не из бедных. И я подумал о попе Андрее. Тот тоже не был беден. Вот дядя Гичо, например, — бедный ремесленник, кузнец. Цвятко Чемишанский собирает яйца для какой-то фирмы — тоже бедняк, Илия Мачаков и Коло Ушов — батраки. Но Камен Гурзов! И общественные дела показались мне уже не такими простыми и понятными.

Восставшие собрались в путь. Вокруг них сновали жены и матери, подавали им сумки и узелки, пряча лица в своих потрепавшихся ладонях.

А восставшие были веселы, словно шли на свадьбу. Некоторые шутили. Кто знает, может быть, шутками они старались заглушить свои тревожные мысли, потому что понимали, что дело им предстоит не легкое. Но мне их спокойствие и веселость были непонятны. «Только герои, — думал я, — имеют такую силу: идти на смерть, да при этом еще петь и шутить!» А передо мной были никакие не герои, а мои односельчане...

Я увидел дядю. Он стоял в стороне и о чем-то говорил с моим отцом. Держался он как всегда, чуть повернув голову вбок, чтобы видеть здоровым глазом того, с кем говорит. Наверно, он сказал что-то очень смешное, потому что отец озабоченно улыбнулся, а сам дядя залился смехом. У нас только он один унаследовал дедушкино остроумие...

Скоро восставшие построились и двинулись к шоссе. У некоторых были на плече ружья, у других за поясом пистолеты, но таких было мало. Остальные держали на плече кто вилы, кто толстую дубину с железным наконечником. «Не выгорит ваше дело» — вспомнил я дедушкины слова, и мне захотелось, чтобы



дедушка ошибся, меня охватил страх за дядю, за тех, у кого не было оружия...

Женщины толпой следовали за мужчинами. Шел за ними и я. В конце села восставшие спустились к речке, перешли через мост и отправились дальше. У поворота толпа женщин разлилась, как огромная пестрая капля, и остановилась. Строй все удалялся и, наконец, исчез за Вачовой мельницей. Пестрая капля начала распадаться, все пошло по домам — согнутые, подавленные неуверенностью, которая сжимала каждое сердце. Так по крайней мере думал я, поскольку глубоко внутри меня сидел страх. Я очень боялся. Независимо от того, кто прав и кто неправ, прольется кровь. И это было ужасно. Да и учению моему придет конец...

9

Вести приходили в село неясные и противоречивые. В городе власть перешла в руки народа, но кавалерийский полк окопался в казармах и не сдавался. Восставшие окружили казармы, начался кровопролитный бой. А что делалось в других селах, что происходило в стране — никто не знал. Село тогда газет не читало.

Жил у нас в слободе некий Пырван, по прозвищу Крот. Язык у него был хорошо подвешен, и все-то он знал и всюду совал свой нос. Потому и прозвали его Кротом. Он был настоящей живой газетой. Часто приходил он и к нам; дедушка доставал бутыл с ракией¹, и Пырван начинал... Как-то дядя Пырван принес весть, что из Медковца прискакала в Лом народная кавалерия.

— Двор прогимназии в Медковце, — рассказывал он, — превратили в мобилизационную площадку. Там собирався народ, люди приводили лошадей и телеги и отдавали их для революции. А по двору ходил поп Андрей и отдавал приказания.

Услышав имя попа Андрея, я наострил уши. Меня охватила гордость. Кто лучше меня знал гимназический двор в Медковце, кто разговаривал с попом Андреем, как сейчас говорят дедушка с дядей Пырваном? Конечно, я! Я и никто другой! И о каком еще священнике говорят сегодня во всех селах? Только о «моем» попе Андрее!

Однажды до нас донеслись глухие выстрелы. Село насторожилось. Орудия были только у солдат, и если они подошли к нам

¹ Ракия — болгарская водка.

так близко, значит, наши в Ломе разбиты. А если солдаты войдут в село, что будет с женщинами и детьми?

На следующий день прошел слух, что, оказывается, из оружия стреляли никакие не солдаты, а сам поп Андрей! По станции в Брусарцах. Народ оживился. Но как проверить этот слух? Только дядя Пырван, решил я, может все объяснить. И как бы случайно я оказался около его дома. Он срубал во дворе верхушки каких-то кустов. «Дедушка хочет, чтобы вы к нему заглянули», — сказал я первое, что пришло мне в голову. Дядя Пырван положил топорик и не стал дожидаться второго приглашения. Он любил выпить, и наверно ракия притягивала его больше, чем садовая работа. Дедушка понял свою задачу и, едва завидев дядю Пырвана у порога, поставил полный кувшин ракии на печурку и придвинул два стула.

Я прислонился к окну и дрожал от страха, что дедушка придумает мне какое-нибудь дело во дворе. И как бы между прочим подбросил словечко для начала разговора:

— Говорят, что поп Андрей стрелял в Брусарцах. Слыхали, наверно?

— Слыхал! Я да не слыхал! — ответил дядя Пырван и поднял кувшин; из него полилась тонкая струйка, адамово яблоко у дяди Пырвана плавно и медленно ходило вверх-вниз.

Потом дядя Пырван подал кувшин дедушке, долго чмокал, приглаживал ладонью усы и молчал. Я знал, что он делает все это, чтобы разжечь наше любопытство.

— Так вот какое дело, — начал он. — Приходит в Медковец одна женщина. Сама медковчанка, а замужем в Габровницах, а может, еще где. Приходит, значит, к отцу и матери. «Так и так, говорит, беда. Помогите». И все рассказала. Как пошел ее муж вместе с другими сражаться под Бойчиновцами, как там его тяжело ранило осколком снаряда. Добрался он тайными тропками до дому. Ночами шел, а днем в кустарнике отсиживался. Добрался — ни живой, ни мертвый... Растерялась жена, не знает, что делать, — к врачу ли его вести, смотреть ли, как он умирает. Никого у нее не было в Габровницах, догадалась к отцу пойти. И побежала в Медковец. Наревелась там. «Найдите, говорит, потайное место спрятать его от властей!» Отец подумал, подумал и говорит: «Пойду к попу Андрею. Их человек, пусть и спрячут». И рассказал там все, что слышал от дочери. А слышал он, что восставшие захватили у солдат оружие. Ну, что там сделал поп Андрей с раненым, я не знаю, — увижу кого-нибудь из медковчан, спрошу, — но сказал: «Под Фердинандом у наших есть оружие, а в Ломе люди гибнут. Пойду к Димитрову и Кола-

рову¹, пусть дадут это орудие мне». Поп Андрей — артиллерист, — пояснил дядя Пырван, — понимает в орудиях. И вот собрал, значит, поп Андрей своих товарищей: так и так, говорит (дядя Пырван очень любил это «так и так»), айда за орудием! И — на коня да в Фердинанд. «Орудие мы тебе дадим, — сказали ему Димитров и Коларов, — только надо сначала справиться у Бойчиновцев». Георгий Дамянов² собрал свою Лопушанскую дружину, Христо Михайлов³ подтянул орудие к позиции, а поп Андрей стал ему помогать. Управились там, потом еще у Ерденского моста, а после боя Христо Михайлов отдал орудие попу Андрею, а Георгий Дамянов выделил ему тридцать молодых. Погрузили орудие в поезд, попрыгали в вагон — и к Лому. В Медковце поезд остановился, начальник станции и говорит попу Андрею: «Дальше пути нет. Видинский полк ломским войскам подоспел на помощь. Брусарцы в руках армии». Поп Андрей приказал сгрузить орудие, запрягли в него двух лошадей, построили пеших — и пошли через Липен на Лом. Шли, шли, дошли до Криводола. А навстречу — посыльный. «Так и так, говорит, поворачивайте орудие к Брусарцам!» И снова, окольным путем, — в Медковец, и снова погрузили орудие в вагон.

Спустился поезд в Гайдуцкий дол, а там и станция Брусарцы. Подготовили орудие и из вагона — бух, бух, бух! — по вокзалу. Да, забыл сказать, начальник станции в Медковце, видно, свой был человек, он шепнул нашим, что в подвале станции сложены снаряды. Армия оставила их тут и забыла. Поп Андрей забрал все, что было, оттого и стрелять мог долго... Ну и гремело вчера! Наверняка это дело рук попа Андрея... Да, так вот. Без вранья!

¹ Димитров Георгий (1882—1949) — выдающийся деятель болгарского и международного рабочего и коммунистического движения, один из бесстрашных руководителей антифашистского восстания в Болгарии в сентябре 1923 года, а позже — организатор антифашистского партизанского движения и вдохновитель вооруженного восстания 9 сентября 1944 года, приведшего благодаря победам Советской Армии к свержению фашистского режима и установлению в Болгарии власти трудящихся.

Коларов Васил (1877—1950) — видный деятель болгарского и международного рабочего движения, один из руководителей болгарских коммунистов. Вместе с Г. Димитровым возглавил Сентябрьское антифашистское восстание и освободительную борьбу болгарского народа в период второй мировой войны.

² Дамянов Георгий (1892—1958) — политический и государственный деятель, один из руководителей Сентябрьского восстания 1923 года.

³ Михайлов Христо (1893—1944) — один из руководителей Сентябрьского восстания, в годы второй мировой войны — главнокомандующий партизанскими войсками в Болгарии, убит в 1944 году.

И, протянув руку к кувшину, дядя Пырван снова подлил его. Выцедив последнюю каплю, он повернул кувшин дном кверху, чтобы показать, что тот пуст. Дедушка поднялся, чтобы наполнить кувшин снова, но дядя Пырван сказал:

— Хватит, бай Милчо. Идти надо, и другие ждут новостей.

Радости во всем этом было мало. Да и чему тут радоваться! В селе были женщины, мужья которых шли на ломские казармы, а по ту сторону колючей проволоки в них стреляли их собственные сыновья. Что ожидало этих женщин? Кто бы ни победил, они останутся или без мужей, или без сыновей...

От дяди вестей не было. Тяжелее всех переживала бабушка. Она не ела, не спала, все время искала себе работу, чтобы только не думать. А кукуруза перезревала, и люди один за другим шли в поле. Я был в доме единственным мужчиной, пригодным для полевых работ. Мы с дедушкой привязали к телеге задний шит, укрепили передний, я запряг волов, мама и тетки взобрались на телегу, и мы потащились в поле, к одинокому дубу. Поле стояло неубранным, телега тонула в высокой кукурузе, как в море. На ниве каждый взял себе по два ряда — мы отламывали початки и бросали их в кучу. Доходили до края участка и шли обратно. Потом тетки срезали четыре ряда кукурузы, как говорят, «сделали дорожку». Я впряг волов в телегу и по этой дорожке повел их с поля. У каждой кучи я останавливался и все бросали початки в телегу. Когда ее наполнили, я погнал волов в село. Вместе с дедушкой и бабушкой мы разгрузили телегу посреди двора, и я снова вернулся в поле.

Среди дня мы решили отдохнуть. Прямо над нами старый полевой дуб раскинул огромную свою крону. Ветра не было, только временами мы ощущали какое-то легкое дуновение, и кукуруза начинала шелестеть своими листьями, словно это были тонкие листы кровельного железа. И все смолкало. Вокруг — ни души, мы затерялись в кукурузном поле, чувствуя себя отрезанными от всего мира, от времени, от кровавых сражений.

Неожиданно за дубом что-то прошелестело. Это был не ветер — скорее человек или скотина. Пока мы гадали, что это могло быть, перед нами возник человек. Я узнал его, дядю Илию Мачакова. Но что он тут делал? Почему он был здесь? Я же видел, что он со всеми шел сражаться в Лом!

Дядя Илия приблизился к нам, поздоровался и подсел к маме:

— Пить хочется невозможно! Есть у вас вода?

Тетя Кында подала ему баклагу. Он поднял ее, долго пил, потом поставил баклагу и взял ее снова. Наконец, вытерев усы ладонью, стал рассказывать. С вечера он не пил ни капли. А со

вчерашнего дня у него крошки во рту не было. Он не смел показаться у себя в доме, ничего не знал о жене и детях.

— Раскидали нас, как цыплят. Кого поймали, натолкали в баржу, а кого — довели до Голинского ивняка и расстреляли на берегу Дуная. Что будет, Ценка, не знаю...

Тетя Кында спросила, видел ли он Фоко, дядя Илия отвечал, что одно время они были рядом, но потом, когда бежали, он его уже не видел. Кто сумел — скрылся, кто не смог — либо попал на баржу, либо остался лежать на берегу...

Мама велела тете Гинке принести дяде Илие с телеги хлеба и брынзы. Взяв еду, дядя Илия попросил маму передать его жене, что он жив и здоров, и исчез в высокой кукурузе.

«Прав ли был дедушка?» — спрашивал я себя. Ведь если бы сыновья в казармах поняли своих отцов и перешли на их сторону — было бы совсем другое дело. И тут незаметно для себя я сделал открытие. Оказывается, есть нечто посильнее оружия — идеи. Только общие мысли могли бы объединить отцов и детей.

Так я раздумывал, когда снова гнал домой волов с телегой, полной початков. А на мосту возле села меня остановили солдаты. На их ружьях были надеты штыки... Солдаты показались мне какими-то испуганными и в то же время злыми. По холмам вокруг села тоже сновали солдаты. Я сначала хотел остановить телегу и вернуться, но волы едва удерживали телегу на спуске своими рогами. Да и как вернешься, когда солдаты меня уже заметили. Они осмотрели телегу и отпустили меня. «Все-таки не чужие, а наши солдаты,— подумал я.— Да нет, наши-то наши, а не наши...»

На площади перед общиной их было еще больше. Дома, пока мы разгружали телегу, дедушка рассказал мне, что власть снова взяли заговорщики. Петр Гурзов опять стал старостой. Всех богачей и заговорщиков выпустили из тюрьмы, а в тюрьму посадили коммунистов и земледельцев. Некоторые из них скрывались в окрестных полях. Я рассказал дедушке про дядю Илию. Он велел мне никому об этом не говорить. И еще велел поторопиться, чтобы успеть обернуться еще раз. И, вздохнув, добавил:

— Где же он прячется, горемычный... Если жив только... Эх, судьба-судьбинушка наша...

И мои мысли были с дядей Фоко. Про свое училище я забыл. Что значило мое учение по сравнению с жизнью дяди?!

На мосту солдаты остановили меня и велели возвращаться домой. Они только впускали в село, а из села не выпускали. Я поплакал им — что же будут делать мама и тетки в поле?



Солдаты пошушукались, поглядели на меня и отпустили. И опять я подумал, что солдаты — это наши, сельские ребята, и только со страха исполняют чужие приказы.

Вечером мы возвратились в село. Там все еще находились солдаты. По улицам они ходили по двое, со штыками на ружьях и ввели все новых и новых арестованных. Мама боялась, что солдаты станут искать дядю у нас, что они могут нас ограбить, потому что слышала от отца, что они творят в домах. И она велела нам перетаскать на чердак все, что было у нас хорошего.

В эту ночь никто не сомкнул глаз. Бабушка молчала, ничего не ела и все время думала о дяде. Спустя несколько дней мы узнали, что дядя — на барже. Эта баржа стояла на якоре и была превращена в тюрьму. Арестованных, говорят, били, пытали, а некоторых уводили, и они больше не возвращались. Жив ли еще дядя? Никто не мог этого сказать¹.

Интересный человек был мой дядя. Я думаю, что он принадлежал к новому поколению. Дедушка же мой был разочарованным возрожденцем, носителем обманутых надежд, все критикующим и все отвергающим. Но что надо было сделать, чтобы народ зажил хорошо, он не представлял себе ясно. Отец служил жизни — такой, как она есть, но эта жизнь отняла у него ногу и помешала ему учиться. А дядя понял, что мир можно изменить, и для этого взялся за оружие. Конечно, и ему не все было ясно, как и многим другим. Ясно было лишь одно: мир надо изменить к лучшему. Власть оказалась сильнее дяди. Старая государственная машина смяла его и бросила в баржу. А все-таки интересно, останется ли прежним мир — мир, который даже мой дядя ненавидел... Откуда мог я это знать...

На другой день отец вернулся из общины поздно.

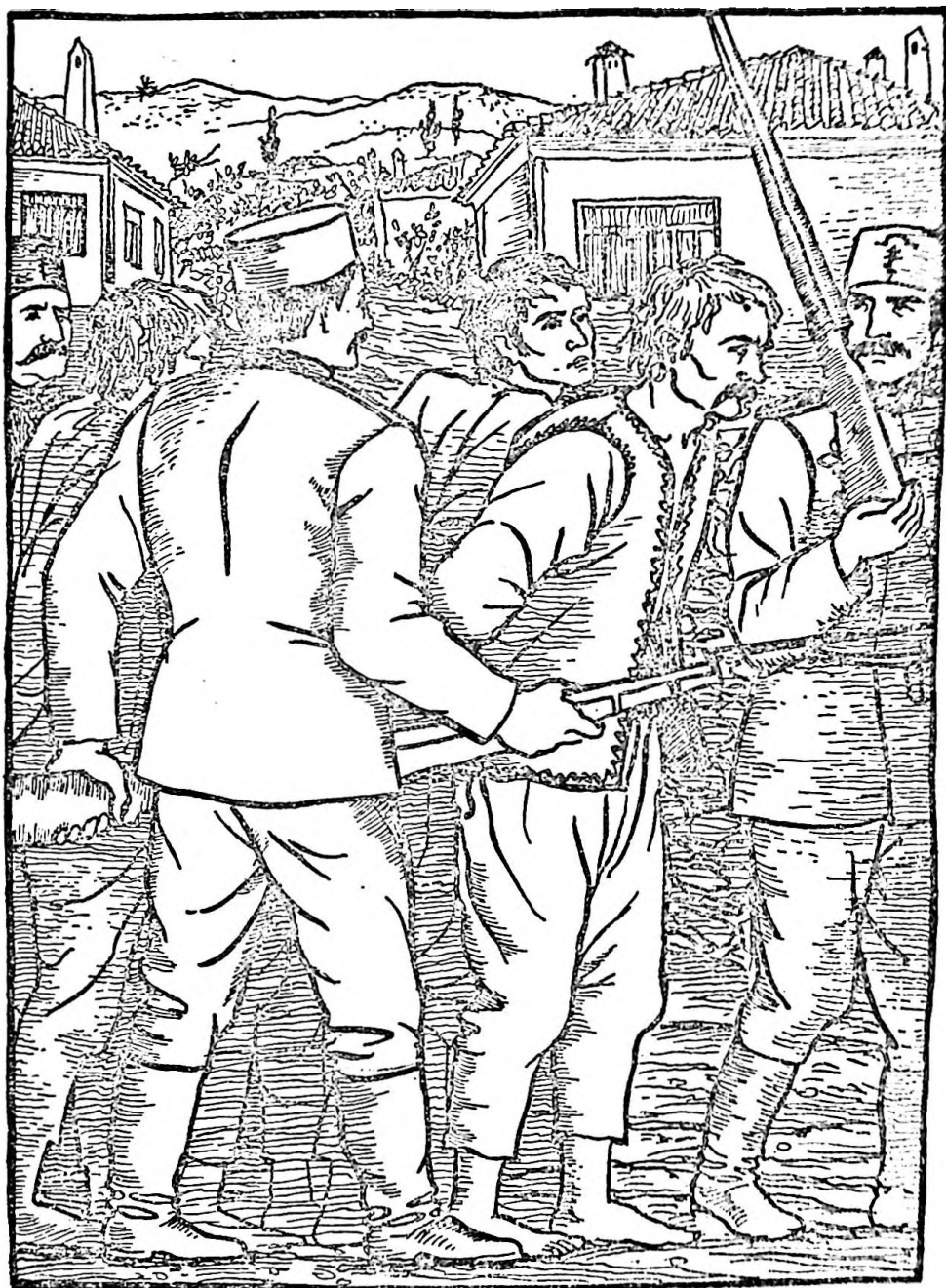
— Беда, — сказал он. — Будет большая резня. Их тогда и пальцем не тронули, а они сейчас с нашими расправятся... Только Петр Гурзов озабочен. Не может он желать брату смерти. Хорошо, что Камен где-то прячется. Пройдет буря — может, и останется жив. Вечером взяли Илию Мачакова.

— Илию? — удивилась мама. — Мы же видели его в кукурузе. Убьют его, несчастного...

— И его убьют, и Фоко убьют, всех убьют, — отозвался дедушка. — Турок и тот так не убивал. Мидхат-паша был человечнее этого профессора Цанкова. Вот они, ученые! Учатся не человечности, а... зверству!

Дядю Илию действительно убили. Его схватили, поставили у копны из сухих кукурузных стеблей и начали рубить саблями.

¹ Баржа была затоплена со всеми арестованными. (Примеч. переводчика.)



Как его поймали, не знаю, говорят, что выдал богачей Стоян Тудоров. Из-за виноградника! У дяди Илиа был маленький виноградник возле виноградника Стояна, и тот принуждал его продать этот участок, а дядя Илиа отказывался. И вот на тебе... Нашли его с разрубленными ладонями. Пытался человек защититься от сабли...

На другой день к обеду село содрогнулось от ружейной пальбы. Стреляли, как мне показалось, со стороны общины. Осеннее небо висело над селом, как закопченное стекло, выстрелы словно раскололи его, и стекло со звоном упало на крыши. Солнце было похоже на большую каплю крови, вот-вот она скатится и сожжет землю.

Выстрелы то глохли, то снова гремели, то опять глохли и, наконец, заглохли совсем, и тогда послышался глухой-глухой выстрел. И словно он озлобил ружья, и опять затрещали выстрелы. Что случилось, никто не знал, потому что никто не смел выйти из дому и посмотреть. Потом все узнали — это убили Цветана Бояджиева и его сноху, жену брата.

Цветан еще юношей покинул село, люди давно его забыли. Говорили, что он скитался где-то, а последнее время работал на какой-то фабрике в Видине. Когда началось восстание и Цветан узнал, что центр его в Ломском и Фердинандском округах, он явился в Лом и вступил в Расовский отряд. После поражения восставших ему удалось спастись. Он решил скрыться в нашем селе, в своем родном доме. Люди его не помнят, никто ничего не заподозрит. И вот он постучался ночью в окно. Брат Пырван вышел и привел его в дом. Жена Пырвана стала кричать, зачем он пришел, из-за него теперь сожгут дом, но Пырван спрятал его в одной из комнат: брат ведь, нельзя бросить его на улице. А кто-то все это видел и слышал. Кто — до сегодняшнего дня неизвестно. И вот солдаты окружили дом и закричали: «Сдавайся, если жизнь тебе дорога!» Но Цветан не для того шел сюда от самого Видина, чтобы сдаваться. Тогда солдаты открыли стрельбу. В доме находились только Цветан и его сноха. Женщина обезумела от страха, она пыталась выбежать наружу, но по двери шелкали пули, некоторые даже пробивали толстые доски. Цветан просил ее лечь на пол, но она кричала, визжала, вырывалась и, наконец, распахнула дверь. И тут же свалилась на порог. Глянул Цветан — у нее уже предсмертные судороги... Ярость затуманила его сознание, он, стреляя, перебежал от окна к окну, а когда у него осталось только два патрона, вышел на порог: еще хоть одного прикончить. Он выстрелил и был сразу же оглушен залпом. Схватившись за грудь, он упал возле своей снохи...

Три жертвы за одни сутки... Весть о четвертой была для меня

самой ужасной. В понедельник кто-то вернулся из Медковца и сообщил, что солдаты схватили попа Андрея. Привели его на станцию в Медковец и согнали все село смотреть, как будут вешать священника на телеграфном столбе. На том самом столбе, к которому однажды ветреным днем я приложил ухо, чтобы послушать песню проводов.

Да, я знал эту станцию.

Знал этот телеграфный столб.

Знал я и попа Андрея. Белая рубаша и черные брюки, высокий ботевский лоб, огненные ботевские глаза, широкая ботевская борода.

И вот попа Андрея уже нет...¹

Четыре жертвы... А может быть, и все мое детство состояло из одних жертв? А может быть, вообще его не было, моего детства? Или если оно и существовало, то ушло от меня, еще когда я выписывал кривые кружки на закопченной стене очага. Или когда я услышал, что ранен отец? Или когда умерла Верочка? Или когда дядю посадили в баржу? Не знаю. Во всяком случае, после казни попа Андрея я понял, что у меня не было детства или если оно и было, то давно уже отшумело...

Да, я уже не ребенок. А когда буря утихнет и эхо заглохнет, я снова надену свою училищную форму...

На этом заканчивается моя история. Обыкновенная история обыкновенного мальчика. Что еще можно к ней добавить? Едва я начал ходить по земле, как пришлось пройти через три войны, через кровавый переворот и через два восстания. В четвертой войне я буду участвовать лично. Но это уже другое дело...

Долго скитался я по свету, много встречал людей — и хороших, и плохих, и таких, о которых не знаешь, что и думать. Как, например, дед Вытко. Расскажу напоследок и о нем.

В 1938 году меня направили в Берковское артиллерийское отделение учеником фельдфебеля. Батарейным фельдфебелем, как тогда называли старшин, был у меня Вытко Петков. Мы называли его дедом Вытко. Колоритная фигура. Хитрый, острый на язык и изворотливый крестьянин, он остался на военной службе, чтобы кормить свою семью. Крупный, с широким ватным подбородком и маленькими, насмешливыми глазками. Но не буду пускаться в длинные описания. Скажу только, что этот дед Вытко когда-то командовал той самой багареей, у которой восставшие захватили в Бойчиновцах орудие. Уже пятнадцать лет носил он в сердце свой позор. Тогда, до Девятого сентября², напоминание об этом было для него просто невыносим-

¹ Именем попа Андрея названа улица в Софии.

² Девятое сентября — см. примечание к стр. 97.

мым. Когда некоторые шутники, как будто случайно, вспоминали о захваченном у него оружии, дед Витко бросал на них свирепый взгляд и в бешенстве удалялся.

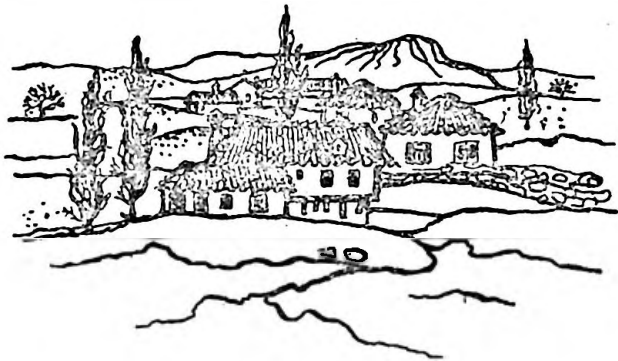
Спустя год-два после победы Девятого сентября, меня, офицера, по делам военной службы, командировали на несколько дней во Врацу. Я остановился в Офицерском клубе. И каково же было мое удивление, когда я встретил там того самого деда Витко! Он совсем состарился и в своей штатской одежде как бы снова стал крестьянином.

Вечером дед Витко пришел ко мне в комнату, и мы ударились в воспоминания. В какой-то момент я вспомнил и об историческом оружии, которое тогда уже стояло в музее, но из деликатности ничего не сказал, а только улыбнулся про себя. Но, видимо, мы оба подумали об одном и том же. И тут дед Витко, словно за слово, сам завел разговор о своем позоре. Но на сей раз он не возмущался, только маленькие его глазки хитровато сощурились. Улыбаясь и с таким видом, будто он доверяет мне самую сокровенную свою тайну, дед Витко произнес:

— Ну что ты на это скажешь? Кто дал пушечку вашим? Дед Витко, а? Сколько лет я ждал, пока смогу сказать правду... А ты, когда зайдет речь, замолви там за меня словечко...

Я почувствовал себя неловко. За него. Никто не привлекал его к ответственности, никто его не преследовал, да и не за что было. Зачем ему понадобилось приписывать себе заслуги перед новой властью? Жалкий хитрец, из всего он привык извлекать выгоду... С тех пор мне стали еще неприятнее люди, которые хотят быть и тут, и там, а в сущности остаются ни тут, ни там.

И хорошо, что есть на земле такие люди, как дядя Илия, Цветан Бояджиев, поп Андрей. Без них мир был бы гораздо беднее...



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Перевернута последняя страница «Повести о далеком детстве» Ивана Милчева, а в нашем сознании, как живые, остаются образы ее героев. Они воспринимаются нами в болгарском своеобразии, так как созданы умелой рукой мастера художественного слова. Они представляются нам совсем реальными людьми, так как живут и действуют в определенной бытовой и национальной обстановке и в них запечатлен ранний жизненный опыт самого автора. Писатель рассказывает живо и эмоционально о том, что сохранила его цепкая память, что довелось ему самому увидеть или узнать от родителей и родственников о событиях тех лет, а в целом вырисовывается правдивая и впечатляющая картина из жизни сельских ребят в годы первой мировой войны и после нее.

Главный герой повести Иванчо — образ автобиографический, так как все факты личной жизни автора перешли в характер и образ основного персонажа. Восприимчивая детская память Иванчо, а заодно и автора, сохранила до мелочей особенности сельского быта, жизнь крестьянской семьи тех тяжелых лет войны и не менее тяжелых, к тому же трагических, событий послевоенного периода. А через рассказы родителей, особенно дедушки Милчо, герой повести, и вместе с ним читатель, получает представление и о более отдаленном прошлом — времени борьбы против османского ига, времени русско-турецкой войны 1877—1878 годов, закончившейся победой русских войск и принесшей национальное освобождение болгарскому народу. Эти знаменательные события воспринимаются в повести как нечто далекое, но бесконечно дорогое для каждого болгарина. Как дорогие традиции прошлого, они бережно передаются от одного поколения к другому. Они живут и сейчас в свободной Болгарии и являются одним из важных источников животворной болгаро-советской дружбы.

Героические традиции национально-освободительной борьбы прошлого столетия также бережно сохраняются в наше время в произведениях литературы, величественных памятниках борцам, в том, что ежегодно отмечается 2 июня — день гибели великого национального поэта и революционера Христо Ботева, день памяти всех болгар, павших в боях за свободу и независимость своей родины. Эти славные традиции способствуют воспитанию молодого поколения в патриотическом духе.

В центре внимания автора «Повести о далеком детстве» все же находится совершенно определенный исторический период — первая мировая война и начало 20-х годов — время бурных политических потрясений, оставивших неизгладимый след в жизни болгарского народа. Здесь глубоко личное в судьбе крестьянского паренька как бы переплетается с большими социальными событиями в стране. И повесть воспринимается уже не только как история жизни одного человека, но и как достоверное описание жизни того поколения болгарских тружеников, которое было свидетелем острых классовых битв и которое начинало самостоятельный путь с понимания их необходимости во имя торжества народных идеалов. Поэтому каждый новый штрих в развитии болгарского села тех лет, каждый новый необычный характер человека, с которым сталкивался Иванчо, способствовали развитию гражданского и социального сознания крестьянского мальчика. А события происходили весьма знаменательные.

По воле правящих кругов и в особенности царя Фердинанда — ставленника немецкой Кобургской династии — Болгария была втянута в первую мировую войну на стороне Германии. Эта непопулярная, антинародная война ввергла болгарский народ в тяжелые лишения и завершилась национальной катастрофой. Если вспомнить, что раньше народу пришлось к тому же вести две балканские войны 1912—1913 годов, то станет понятной та решимость, с которой болгарские солдаты — в большинстве случаев крестьяне и ремесленники — повернули свое оружие против ненавистного монархического правительства. В сентябре 1918 года поднялось солдатское Владайское восстание (по имени села Владая в 15 километрах от Софии), участники которого потребовали упразднить реакционную монархию и привлечь к ответственности виновников войны. В этих революционных выступлениях В. И. Ленин видел прямое воздействие идей Великой Октябрьской социалистической революции.

Чтобы спасти монархический режим и защитить интересы болгарской буржуазии, царь Фердинанд отказался от престола

в пользу своего сына Бориса, а сам бежал из страны, боясь народного возмездия. К власти пришло правительство крестьянской партии — Болгарского земледельческого народного союза во главе с его лидером Александром Стамболийским. Перемены в стране в сторону демократизации общественно-политической жизни умиротворяюще подействовали на широкие массы, но наиболее революционная в стране в то время партия «тесных социалистов», близкая русским большевикам, не смогла использовать революционную ситуацию, чтобы возглавить движение трудящихся и довести его до победного конца.

Недолго, однако, у кормила правления находились болгарские земледельцы. Уже в июне 1923 года военно-реакционные круги осуществили контрреволюционный переворот и зверски убили А. Стамболийского. Власть захватили самые оголтелые реакционные силы во главе с организатором и вдохновителем фашистских погромов А. Цанковым. В ответ на действия реакции по всей стране начались выступления крестьян и трудящихся в защиту политических прав. Это привело к всенародному антифашистскому восстанию в сентябре 1923 года. Во главе его стали испытанные коммунисты. В северо-западной Болгарии ходом восстания непосредственно руководили Г. Димитров и В. Коларов. Несмотря на героические усилия болгарских трудящихся, несмотря на мужество и самоотверженность коммунистов, Сентябрьское восстание было жестоко подавлено реакцией. Свыше 30 тысяч болгар — участников первого в мире антифашистского восстания — были убиты или замучены. В селах и городах вешали на телеграфных столбах борцов за народную свободу, по рекам Болгарии плыли баржи и плоты с трупами убитых. Прокатившийся по всей стране белый террор вызвал глубокое возмущение прогрессивной мировой общественности. В защиту пострадавших выступили советские трудящиеся, зверства болгарских фашистов резко осудили советские писатели и деятели культуры. На Западе в защиту жертв, пострадавших от террора, подняли свой голос выдающиеся французские писатели Р. Роллан и А. Барбюс. Восстание было подавлено, но оно потрясло устои всей буржуазной системы Болгарии и явилось исторической прелюдией к восстанию 1944 года, приведшему к полной победе народа. Как писал Г. Димитров, Сентябрьское восстание «провело глубокую кровавую борозду между народными массами и фашистской буржуазией», которую уже ничем нельзя было заполнить.

Маленький Иванчо, герой настоящей повести, конечно, не мог знать подлинного смысла происходивших политических событий, которые волнами докатывались до его родного села и по-

своему преломлялись в восприятии крестьян и крестьянских ребят. Тревожная атмосфера Владейского восстания, а позже и перемены в правлении села, связанные с событиями 1923 года, — вначале реакционный переворот и падение земледельцев, а затем Сентябрьское восстание — все это проходило на глазах крестьянских ребят и глубоко западало в их впечатлительные души.

И. Милчев выводит и яркий образ попа Андрея — героического участника восстания. Это не вымышленный персонаж, а совершенно реальное лицо. Дело в том, что в Болгарии низшее духовенство издавна принимало участие в национально-освободительном движении. Выдающийся болгарский революционный демократ Васил Левский в молодости был монахом, поэтому за ним закрепилась и была популярной кличка «Дьякон». В пору подъема социалистического движения в Болгарии в начале 20-х годов немало было случаев, когда священники порывали с духовенством и принимали непосредственное участие в революционной борьбе. Одним из таких людей был изображенный в повести поп Андрей. Настоящее его имя — Андрей Игнатов Иванов. Он родился в селе Медковец, получил духовное образование и некоторое время был священником. В 1919 году он принимал участие в первом конгрессе Болгарской коммунистической партии, во время фашистского переворота в 1923 году выполнял обязанности партийного курьера, а в Сентябрьском восстании принял непосредственное участие как агитатор и командир орудия, проявив при этом исключительный героизм. После подавления восстания Андрей Игнатов Иванов был схвачен и повешен на окраине села Медковец. Личность попа Андрея стала легендарной в истории революционной борьбы болгарского народа, и не случайно И. Милчев, рассказывая о нем, обращает внимание на то, как его подвиг оказывает огромное влияние на формирование революционных убеждений болгарской молодежи.

«Повесть о далеком детстве» близка нам своим гуманистическим пафосом, утверждением веры в простого человека из народа, который исполнен неистребимого желания познать правду жизни и идти с нею к светлому будущему, которое сам герой позже назовет миром социализма и в новых исторических условиях по достоинству оценит те великие жертвы, которые были принесены народом во имя сегодняшней свободы.

В. ЗЛЫДНЕВ

Для среднего возраста

Иван Милчев

МОЕ ДАЛЕКОЕ ДЕТСТВО

ИБ № 3855

Повесть

Ответственный редактор Н. И. Белая

Художественный редактор Б. А. Дехтерев

Технический редактор Е. В. Пальмова

Корректоры Г. В. Давыдова и О. И. Иванова

Сдано в набор 20.12.79. Подписано к печати 31.03.80.
Формат 60×84^{1/8}. Бум. типогр. № 1. Шрифт латин-
ский. Печать высокая. Усл. печ. л. 6,51. Уч.-изд. л. 6,83.
Тираж 100 000 экз. Заказ № 698. Цена 35 коп. Ордена
Трудового Красного Знамени издательство «Детская
литература» Государственного комитета РСФСР по
делам издательства, полиграфии и книжной торговли.
Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового
Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Рос-
главополиграфпрома Государственного комитета РСФСР
по делам издательства, полиграфии и книжной торговли.
Москва, Сушевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

ВИБЛИОТЕКА КГПИ

Инд. № 256550

Милчев И.

М60 Мое далекое детство: Повесть/ Пер. с болг. и примеч. В. Викторова; Предисл. А. Алексина; Послесл. В. Злыднева; Рис. М. Мироновой.— М.: Дет. лит., 1980.— 110 с., ил.

В пер.: 35 к.

Автобиографическая повесть лауреата Димитровской премии Ивана Милчева о судьбе болгарского мальчика.

М $\frac{70803-287}{M101(03)80}$ 388—80

И (Болг)